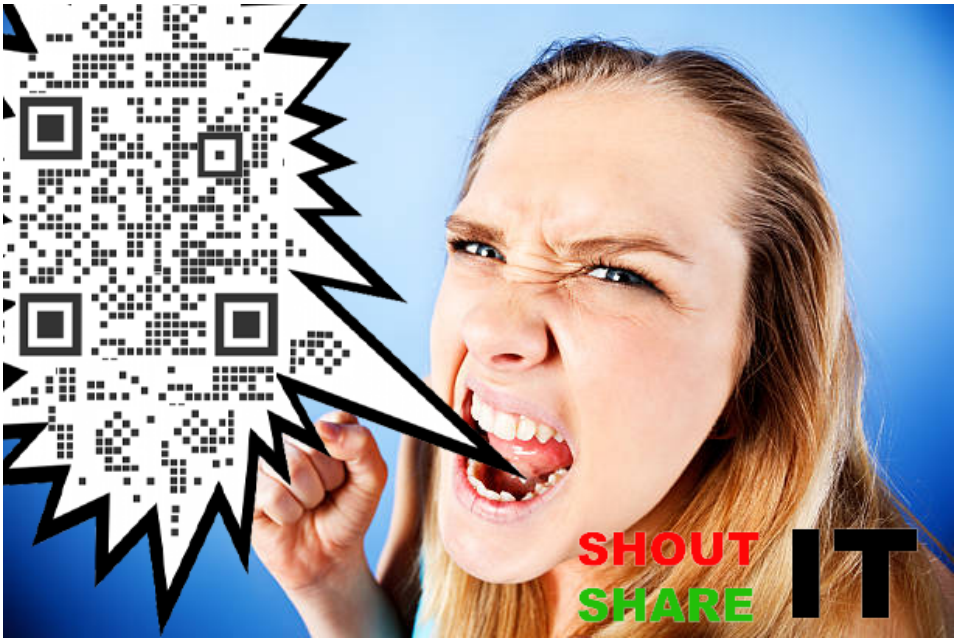
ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Андрей Белый
Р.В. Иванов-Разумник
А.З.Штейнберг


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вольная Философская Ассоциация, последнее прибежище свободной мысли в России после октябрьского переворота, посвятила одно из своих заседаний памяти А.А. Блока. В своем докладе Андрей Белый, прослеживая динамику развития ключевых образов поэта, дал глубочайший обзор философии и творчества Блока. А.З. Штейнберг поделился воспоминаниями о дне, проведенном с Блоком в застенках Чека; Р.В. Иванов-Разумник рассказал о связи поэта с Вольной Философской Ассоциацией, о последних годах его жизни.

Для филологов, философов, студентов гуманитарных факультетов и читателей, интересующихся культурой Серебряного века.

- Андрей Белый, Аарон Штейнберг, Разумник Иванов-Разумник
  -
  - АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
  - Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК
  - АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
  - А. З. ШТЕЙНБЕРГ
  - Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК
  - АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Андрей Белый, Аарон Штейнберг, Разумник Иванов-Разумник

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

ПЕТЕРБУРГ-1922

LXXXIII

открытое заседание Вольной Философской Ассоциации

28 августа 1921

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Открываю заседание, посвященное памяти Александра Александровича Блока.

Россия потеряла своего любимого поэта, который был тесно сплетен с нею. Современность потеряла своего наиболее чуткого сына. Вольная Философская Ассоциация — своего основателя, члена Совета, неизменно духом присутствовавшего среди нас. Многие потеряли друга…

Почтим память покойного вставанием.

Что есть память?

Когда в важные минуты мы собираемся вместе, — мы собираемся не для словесности; не спорить, обмениваться отвлеченными взглядами мы собираемся; мы собираемся для какого-то совместного дела: нечто со-пережить, чтобы со-переживание это в нас отложилось как жизненное решение.

Что значит со-мыслить, со-чувствовать, со-волить? Это значит прийти к какому-то *смыслу,* в сочувствиях прийти к организующему началу чувства иль к *любви; любовью* найти начало совместного действия (или *со-действия), воли*: соединить наши импульсы, чувства и мысли как узнания наших переживаний в *со-знании. Со-знание* — действительность, нами творимая — результат действия мысли, воли и чувства; действительность — действительна (Wirklichkeit — wirken); это есть памятник, память, культура.

Поэты всегда индивидуумы особого рода: они всегда выражение какого-то *интер-индивидуала* (не мое выражение), пересечение коллективов и претворение их в космос индивидуального познания, соединенного с личностью. Поэты — конденсаторы какого-то большого сознания. Орудие их — слово-образ.

Что есть слово-образ?

Оно есть со-дружество смыслов, соединенных в одно, причем каждый из смыслов опять-таки соединение множества мыслей (со-мыслие). В слово-образе связаны бесконечные струи мыслительной жизни в волну, переживаемую индивидуально, как образ фантазии. Гении, вроде Гете, недаром осознают мир фантазии собственной, как особого рода мыслительный организм, как мышление высшего типа, как органику мысли.

Почтить память Блока поэта — найти смысл его Музы: нащупать сердце его поэтического организма и пережить это

сердце в биениях личной жизни его; эта личная жизнь Музы Блока выражается в образе как лик, как индивидуальное имя. Лик, имя Музы поэта — конкретный разум его. Поэзия есть философия конкретного разума.

Философия большого размаха, обратно, — поэзия; конкретная философия не остается в пределах абстрактного мира; ее протянутость к жизни выражается в лозунгах о том, что конкретная философия есть *философия культуры*; но *философия культуры,* в свою очередь, необъяснима без философии самой живой культуры мысли в нас; так философия обусловливается культурой культур: культурой сознания нашего, достигаемого в деятельном плавлении всего нашего переживаемого существа. Тут философия пересекается поэзией.

Поэзия, по Гете, есть *«зрелая природа»:* не понятие о природе, а природа понятия в природе переживаемого сознания — *старая природа,* по отношению которой природа нас обставшего мира есть *итак, оплотнение ставшее* некоего кипящего становления; этот кипящий вулкан становлений, вулкан всей природы — сознание наше.

Поэтическое и конкретно-философское сознание пересекаемы в *«со»-знаниях* философа и поэта при условии, что это «со» переживается не как механическое начало абстрактного синтеза, а неким организмом, где «со» есть «само», или «Selbst», к которому взывал Ницше, то самое Selbst, которое в точном переводе на санскритский язык является *«Атманом»,* или конкретно переживаемым *Духом.* В этом смысле всякое самосознающее знание, во-первых, духовно, а во-вторых, и конкретно, что выражено в философии Индии трехъярусной формулой погружения Духа в мир тайн: *Атман — Будхи — Манас* есть знак нисхождения, три стадии нисхождения, где *Атман — Само, Будхи* — Со, переживаемые как «со» чувствий и знаний, а *Манас* есть акт разумного *знания* отдельного индивидуума: *Атман — Будхи — Манас* прочитываемо как мир *Само-со-знания* нашего. Это значит понять, что конкретное *самосознание* наше имеет Лик, что оно Коллектив, что жизнь этого коллектива осуществляема в жизни каждого индивидуального сознания.

Понять Блока-поэта — понять организующий центр само-со-знания Блока: его *само* или «Атман», действующий сквозь личность; это значит — понять: Блок, как крупный поэт, был поэтом-философом, конкретным философом. Это значит: рассмотреть мир его Музы в русле имени этой Музы, как организующего начала его «фантазийных» стихий, в русле Софии, Премудрости, — той Дамы Прекрасной, к которой божественный Дант обращал свой сонет; это значит понять неслучайность,

органичность события написания *«Двенадцати»* не кем иным, как автором стихов о Прекрасной Даме; это значит понять: Блок именно потому написал *«Двенадцать»,* что был он автором и стихов о Прекрасной Даме, и автором *«Незнакомки»,* и автором *«Балаганчика».* Это значит понять, ухватить: связующий нерв между надрывом, карнавальной иронией Пьеро, Арлекина и глубоко пророческой нотой огромного «Куликова Поля» и «Скифов». Выключить *то* или *иное* из Блока, раскромсать организм мысле-образов Блока не значит ли: поступить с его *памятью* так, как поступили Менады с Дионисом; раскромсывателям памяти Блока на части мы скажем: «руки прочь!»

Наоборот: соединить воедино раскромсанное политическими партиями и литературными школами — вот что должны мы сегодня сделать; освободить из замкнутых черепными коробками абстрактных сознаний конкретное сознание Блока, поэта-философа, человека, — должны мы, чтобы организм его образов встал, как воскресший Дионис в стране живомыслия, живчувствия, живоволия; в стране Духа, иль в памяти, этой Действительности в собственном смысле, — в стране, о которой в одинаковом смысле, но в разных формах сказали Платон, Толстой, Гете, каждый по-своему: первый — в теории воспоминаний, второй — в учении о том, что мир Памяти есть форма касания нас действительно-сущего духовного мира (смотри его книгу «О жизни»), третий — учением о Метаморфозе, стране Конкретного Разума. В этой встрече с Памятью о поэте есть подлинная встреча с Поэтом; и тогда, поймите, тогда мы не *«так сказать»,* а действительно встречаемся с ним.

Переживем же эту встречу по-новому, сделаем нечто сегодня совместно с поэтом, встанем вокруг него. В нашем сегодняшнем коллективном делании забудем формы «академических» заседаний; выговорим *«Блока»* из себя, дадим ему сказать нечто нам. Пусть пришедшие сюда из любопытства лишь послушать, что будут говорить о *«Блоке»,* пусть все *«внешние»* для Блока поймут, что им здесь не место: таких я просил бы встать и удалиться из зала…

Мы же — переживем память о Блоке конкретно…

Почтим его еще раз вставанием.

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Сегодняшнее наше заседание памяти Александра Александровича Блока распадается на две части. Сейчас возьмет слово Андрей Белый, тема речи которого уже им самим только что изложена. Вторая половина сегодняшнего заседания будет посвящена другой теме, теме воспоминаний об Александре Александровиче, о последних четырех годах его жизни; этими воспоминаниями поделится с нами А. З. Штейнберг, который расскажет нам об одном знаменательном дне жизни Блока за два года до смерти; и, наконец, я расскажу о работе Блока в Вольной Философской Ассоциации, поделюсь воспоминаниями о нем вообще, с семнадцатого года, года революции, до последних дней его жизни.

Слово принадлежит Андрею Белому.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Товарищи! когда говоришь о поэте, когда говоришь о центральных образах-мифах крупного поэта, следует помнить, что каждый образ требует дешифрирования и комментарий. Если бы мы могли на обычном рассудочном языке разложить с рассудочной ясностью эти образы, то, быть может, каждый образ Блока потребовал бы написанного тома. Говорить ясно о внешне неясном, но ясном внутренне — нельзя. Поэтому я заранее говорю, что многое в моих словах будет образно, и да не ищут здесь абстрактных определений; во-вторых, нужно помнить, что наша ясность, ясная живая мысль вовсе не совпадает с рассудочно-ясной, с абстрактно-ясной мыслью. Мыслить ясно значит знать, в какой мере осмысливаемое поддается рассудочному выяснению, и где нужно сказать себе: «довольно, здесь нет рассудка» — и говорить образно. Ясно мыслить — значит неясно выражаться, значит знать, где слова о ясном поддаются ясному изложению, где слова о неясном внешне — яснеют, когда мы положим их на сердце, ясное сердце, а не неясную голову.

Блок был поэт национальный. Участь больших национальных поэтов такова, что они нравятся всем, но когда мы спрашиваем себя: *чем* нам нравится Пушкин, то объяснение наше всегда периферично. Оказывается, что тот Пушкин, который нравится двенадцатилетнему гимназисту, делается впервые понятен этому гимназисту, ставшему уже зрелым мужем. Поэтому следует помнить, что в наших обычных литературных оценках мы больших людей уплощаем, и что следует иногда уметь дать слово поэту, подставить ему наше сознание, убрать предрассудки этого сознания; подставить ему наше сознание, как чашу, чтобы поэт в нас себя перелил и пережил, и уже только потом составить на основе сопереживания свои абстрактные суждения.

Понять Блока, так же, как и Гете, т. е. понять Гете в «Фаусте» без его теории цветов — значит понять плоско, ибо и «Теория цветов», и «Метаморфоза растений», и «Фауст», и ясные, легкие лирические стихотворения — они все пересекаются в нутряной глубине гиганта Гете. Понять Блока, понять его «Двенадцать», его «Прекрасную Даму» без этого пересекающегося единства, без «феории» Блока, без конкретной философии Блока — значит Блока не понять, значит отдать его на раскромсание жалких эстетическо-стилистических приемов и всякой той партийности, о которой он сам говорит, что эта политическая партийность —

Маркизова лужа. Не отдать Блока Маркизовой луже — это и значит заговорить о нем, быть может, не вполне понятно, разглядеть его образы, как они нарастали в его сознании один за другим. Все, что написано, например, о «Прекрасной Даме», есть пошлость, есть плоскость. Воображать себе поэта Блока так, что, вот, наивное поэтическое сознание здесь пленилось Средними веками и воскресило изжитую легенду, а потом пришло к мужественным гражданским темам и, наконец, осознало свое место, — это именно образец плоского понимания, растерзывающего единство его поэзии. «Прекрасная Дама» без *«вольфильства»,* без вольной конкретной философии — непонятна, потому что она имеет в себе огромную философию, потому что сам Блок, когда приближался к циклу этих тем, был конкретным философом. Философ — не тот, кто пишет кипы абстрактных философских книг, а тот, кто свою философию переживает во плоти. Такое стремление к воплощению своих философских переживаний в образах и есть воплощение в известный период идеологических устремлений Блока в образ «Прекрасной Дамы».

Понять «Прекрасную Даму» без эпохи девятисотого, девятьсот первого года — невозможно. Национальные поэты суть всегда органы дыхания, органы самосознания или широких, или малых кругов, но всегда каких-то коллективов, и если Блок в девятисотом, девятьсот первом и втором годах пропел нам о «Прекрасной Даме», то мы понимаем, что он «интериндивидуален», что он выразитель каких-то устремлений, каких-то философских чаяний.

Что же это было за время? Если мы попробуем пережить девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот период, который отобразился у Блока в цикле «Ante lucem», то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом периоде: разные художники, разные мыслители, разные устремления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на одном: они были выражением известного пессимизма, стремления к небытию. Философия Шопенгауэра была разлита в воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и пессимистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические песни Бальмонта, — «В безбрежности» и «Тишина», — где открывалось сознанию, — что «времени нет», что «недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет».

В разных формах этот колорит сине-серого, сказал бы я, цвета, отпечатлевался. Если бы вы пошли в то время на картинные выставки, то вы увидели бы там угасание гражданских и бытовых тем, вы увидели бы пейзажи, — обыкновенно зимние

пейзажи на фоне синих зимних сумерок; вы увидели бы этот колорит зимнего фона, тот колорит, который отпечатлелся в «Ante lucem» Блока: «земля мертва, земля уныла», «назавтра новый день угрюмый еще безрадостней взойдет». Это были девяностые годы. Теперь, в девятисотый, девятьсот первый год — все меняется: пробуждается известного рода активность, в русском обществе распространяется Ницше; звучит: — времена сократического человека прошли, Дионис шествует из Индии, окруженный тиграми и пантерами, начинается какое-то новое динамическое время. Это отразилось и в другом: религия буддизма сменилась религиозно-философским исканием, христианским устремлением, линия безвременности перекрестилась с линией какого-то большого будущего, во времени получился крест, и крестом этого страдания, этого трагического разрыва, этого перелома в сознании были окрашены целые слои тогдашней русской интеллигенции, еще не соединенной в кружки, но переживавшей каждый в своем индивидуальном сознании это время.

Это было время смерти Владимира Соловьева, время начинающегося интереса к его философии.

Линия от пессимизма, с одной стороны, вела к трагизму Ницше и к активному боевому мистицизму, с другой стороны, через Шопенгауэра и Гартмана, она вплотную придвигала нас к проблеме, выдвинутой Владимиром Соловьевым. Философию Владимира Соловьева в то время не понимали как динамическую, — она понималась как абстрактная философия; но были иные из соловьевцев, которые понимали, что это — философия жизненного пути, что без жизненного пути и конкретизации, без всех выводов из религиозно-философской концепции Владимира Соловьева к жизни эта философия мертва, — она лишь метафизика среди других отвлеченных метафизик. Вот в этом — максимализм: в стремлении «низвести зарю», в стремлении конкретизировать максимум теоретических чаяний в первом же конкретном шаге (я уже, товарищи, здесь однажды на докладе «О максимализме» очертил конкретный максимализм не в признании максималистических утопий, а именно в первом шаге от максимума к конкретному его воплощению). Между максималистической утопией и ее воплощением в первом шаге лежит такая бездна, которая, например, отдаляет эмпедоклову философию стихий от мифа об Эмпедокле, когда философ стихий пожелал соединиться со стихиями, т. е. бросился в Этну; в этом первый позыв к конкретному максималистическому шагу: — соединиться со стихиями, т. е. сжечь себя в Этне.

Фауст был абстрактным максималистом, но когда он стосковался по конкретному, он понял, что ему остается только умереть, ибо он абстрактен. От чаши с ядом его отделил пасхальный возглас — Christ ist erstanden! — Христос Воскресе! Он ставит чашу, входит в жизнь — первая встреча с жизнью, встреча с Гретхен. Он запутывается, он падает, — разумеется, не как Дон-Жуан, а как тот конкретный философ, который свое стремление к жизни желает воплотить в первом же шаге. И тут-то его абстрактное сознание, Мефистофель, мешает ему, тут он не понял тонуса явления Гретхен, — той, которая в последней сцене второй части «Фауста» стоит около Матери Небесной, как та, которая должна была бы Фауста повести к Ней; — Гретхен должна была быть для Фауста Беатриче, но Фауст не понял Гретхен, он не мог понять, осмыслить образа, символически явившегося перед ним, — отсюда трагедия Фауста, отсюда следующие перипетии вплоть до последней сцены «Фауста», где Фауст осуществляет свой конкретный максималистический шаг, тогда, когда, вырванный из «поэзии далей», перенесенный духовной мыслию из «Puppenzustand», кукольного состояния, он вырастает в четвертом Гиерофанте, в докторе Марианусе. И тогда раздается возглас другого Гиерофанта: «Das Unbeschreibliche hier ist's gethan»! — неописуемое свершилось, — максималистический акт нашел свое завершение. Между абстрактным максимализмом и конкретно жизненной чашей и лежат две части Фауста, лежит целый путь жизни.

И вот, когда мы хотим понять конкретное устремление девятисотых годов, понять ту зарю, которая светила поколению молодых символистов того времени, надо именно в этом стремлении найти пересечение между абстрактной теорией и конкретным жизненным путем — соединить временное с вечным, т. е. *прийти к Символу,* потому что только такое соединение есть Символ, а все остальное — пустые игрушки.

Блок был символист до мозга костей, теоретик и поэт в их неразрывной связи. Он понял призывы зари Владимира Соловьева, как наступление громадной мировой эпохи, переворачивающей все, революционизирующей наше сознание до последней конкретности. Что Блок был в этом периоде именно таким философом, показывает его многочисленная переписка, хотя бы те письма, которыми он обменивался в тот период со мной: в них именно выдвигались вопросы о том, что есть теократия Соловьева, что есть Третий Завет, что есть новая религиозная эпоха, что есть воплощение духовного в жизненном. В конце концов, мобилизовался в то переломное время целый ряд вопросов, которые в истории культуры неоднократно в разных

столетиях поднимались и в своем синтетическом образе встали и соединились в тот Символ, который Соловьев провозгласил как прославленное человечество Третьей Эры культуры, той новой эры, о которой он сказал: «Знайте же, Вечная Женственность ныне в теле нетленном на землю идет»… (В *теле* — слышите!) «В свете немеркнущем новой богини небо слилося с пучиною вод». Вот в этом слиянии неба с пучиною вод — Софии отвлеченной с конкретизацией ее до последней степени — и есть та проблема, которая занимала Данте. У Данте есть один сонет, где он говорит о глазах своей возлюбленной, о сладком веянии, которое излучается этими глазами. И кому же это пишет Данте? — Сонет посвящен *Метафизике.* Господа, или Данте был дурак, или мы не понимаем чего-то, мы не понимаем, что есть *конкретная философия,* что есть живая мысль, что есть действительный подлинный завет соединения с мыслью, что есть конкретный смысл, который не довольствуется абстрактным, который утопический максимум опрокидывает в первом конкретном шаге, желает максимум видеть в сегодняшнем дне.

И вот, если мы с этой точки зрения подошли бы к первому периоду поэзии Александра Александровича Блока, то мы увидели бы, что вместе с целыми толстыми теоретическими кирпичами, всевозможными анализами проблем, выдвинутых Кантом, Владимиром Соловьевым и другими мыслителями, вместе с этим аппаратом сознание наше сохранило подлинный грунт, откуда вставали эти зори, откуда рождалось это конкретное чувство эпохи.

Александр Александрович был в этот период действительным *философом.* Он эпоху чувствовал конкретно, так, как он говорит это в одной неизданной заметке, которую я в конце своей речи оглашу. Он говорит в этой своей заметке так: «во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира»… Здесь характерна эта физиологичность, эта органистичность восприятия, это ощущение стихий, почти физическое. Вот такой-то «шум», такую зарю ощущали все те, кто встречали появление нового столетия, когда как бы «расставлялись» события всего столетия со многими кризисами и многими светлыми минутами. Мы сейчас вступили в это столетие, мы разыгрываем первые «зори» этой драмы, которая будет еще разрастаться и разрастаться, которая извлечет еще из нашего сознания много горечи и много радости. Факт тот, что в девятисотом году Блок уже знал о том, что времена изменились, что старое отрезано, что мы стоим перед новым фактором восприятия.

И понять Александра Александровича — это значит понять, что все то, что *теоретически* он мог бы в то время сказать, было бы только гипотезой, гипотезой для объяснения, — поймите! — *конкретного факта;* этим фактом был *звук зорь.* Объяснение, методология — подыскивалась, удачно или неудачно — это другой вопрос. Эмпиризм, конкретность — вот чем характеризовано это время, и в этом устремлении к конкретизации Блок первый сделал действительные выводы из соловьевства, которое бралось академически. Может быть, он обнаружил в философии Владимира Соловьева опасные, уязвимые черты, но во всяком случае, стихи его неспроста так любил Александр Александрович, ибо он понимал, что если должно быть соединение мистики, философии и искусства в теургии, то отныне поэзия не есть то, чем она была; максимализм чаяния, теургию поэзии, философии и искусства — вот что отмечает Александр Александрович во Владимире Соловьеве.

Его разговоры того времени, его письма вовсе не показывают нам какого-то «романтика», нет, они показывают человека весьма и весьма реально настроенного, желающего нечто физиологически ощутить, нечто до конца провести в жизнь, неудовлетворенного крахом абстрактных утопий. Мы видим в этом периоде, как *сине-серый* цвет эпохи девяносто седьмого — девяносто девятого годов сменяется *красным* цветом зари. У Гете есть отрывок о чувственно-моральном восприятии красок, и кто хоть немного знаком с его теорией цветов, тот знает, что без этого отрывка о чувственно-моральном восприятии красок мы ничего не поймем у Гете в его теоретическом мировоззрении. Всякий помнит эту красочную палитру; краска здесь делается символом какого-то умственного и психического восприятия. Поэтому очень характерно, когда мы с эстетической точки зрения берем эту гамму сине-серого фона зимних пейзажей жизни девяностых годов. А когда мы берем пейзажи девятьсот второго года, то мы видим всюду — яркие закаты, яркие закаты, яркие закаты. Мы знаем, что во время как раз этого перелома «Тишина» Бальмонта сменилась его «Горящими зданиями»: Бальмонт начинает поджигать здания! — и мы чувствуем, что у Бальмонта этот пожар начинает вкладываться в сознание. Эту зарю, этот пожар, совершенно иначе осознанный, философски осознанный, воспринимает Александр Александрович. Он говорит в девяносто девятом году, что «земля мертва, земля уныла», но — вдали рассвет. Через год приблизительно он пишет — «на небе зарево, глухая ночь мертва, толпится вкруг меня лесных дерев громада, ко *явственно доносится молва далекого, неведомого града».* Опять тот «звук», о котором он сам говорил! Какого же *града*? Того

нового культурного *единства,* того Третьего Завета, который в религиозно-философской мысли в это время оформился. В этом единстве Блок осознал реальность, неслучайность.

Вскоре умирает Вл. Соловьев, в июне девятисотого года. К моменту смерти Соловьева Александр Александрович уже осознал всю преемственность свою со всей его философской линией, — впервые проходят звуки «Прекрасной Дамы»: — «Ты, Вечно-Юная, прошла в неозаренные туманы». Туман — мертвый, но атмосфера разрядилась, и какой-то лик зари потек в этой неозаренности. Бальмонт воспринял: — что-то загорелось, загорелись здания; Блок воспринял: — «Ты, Вечно-Юная, сошла в неозаренные туманы»… Что это: — теократия ли, душа ли мира, душа ли народа, — это опять будет философия, метафизическое рассуждение; есть ли душа народа, нет ли души народа? Тут придется мобилизовать шеллингианство и всякие другие философии, но факт тот, что это вовсе не так просто, не такой пустяк, не такая литература в кавычках, как обыкновенно до сих пор писалось в критике. С этой точки зрения Александр Александрович действительно в этом своем периоде творчества имеет темное ядро, которого мы еще не охватываем, но если бы мы постарались подойти к этому ядру, то вдруг темное ядро расцвело бы, как огромнейшее конкретно-философское искание. Эта нота стихов «о Прекрасной Даме» отныне идет crescendo. Уже в скором времени, если не ошибаюсь, в начале девятисотого года он пишет: «Ищу спасенья! Мои огни горят на высях гор…»; и кончается это так: «Там сходишь Ты с далеких светлых гор. Я жду Тебя. Я дух к Тебе простер. В Тебе — спасенье!» Кто это — Ты? человечество ли, культура, новая эпоха, теократия, женственное ли начало божества — это уже другой вопрос; факт тот, что в эту эпоху была взята им нота, организовавшая впоследствии целое течение символистов.

В девятьсот первом году мы видим уже напряжение искания. В этом году в Петербурге организуется «религиозно-философское общество», выходят сочинения Владимира Соловьева, появляется ряд лиц, разрабатывающих эту философию. Одновременно с этим, вспоминается мне, тонкий и чуткий музыкальный критик Вольфинг, написавший «Музыку и модернизм» (книгу замечательную по тонкости подхода к музыке), анализируя эпохиальность музыкальных композиций Метнера, пытается вскрыть одну тему с-мольной сонаты Метнера и утверждает, что в этой сонате Метнер пытался в музыке взять *звук зорь,* вынуть его из воздуха. Если бы он воплотил в слово эту музыкальную тему, то получилось бы стихотворение, подобное стихотворению Александра Александровича — «Предчувствую Тебя. Года

проходят мимо. Все в образе одном — предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ярок нестерпимо»… Четвертого июня девятьсот первого года Александр Александрович пишет это стихотворение, ставшее классическим, которое открывает «шахматовский цикл» его стихотворений о Прекрасной Даме. В этих же числах я — третьего, четвертого, пятого июня — пишу в своей «московской симфонии» как раз картину, как один мистик, возвращаясь из деревни, начинает делать синтез, сводку образов, желая облечь ими звук зорь новой эпохи. Характерно, что в одно и то же время Метнер, Блок и я, друг друга не зная, делаем попытки осадить, оплотнить факт; осознание же его — это другой вопрос. Что же это все было?

До девятьсот второго года у Блока выдерживается максимальное напряжение цикла «Стихов о Прекрасной Даме». В июле девятьсот второго года последнее, пожалуй, стихотворение, где тема эта очень напряжена: «Падет туманная завеса, Жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежжит брачная заря». Потом начинается уже другая линия. В эту полосу оптимистических чаяний вливаются, однако, и темные ноты. Поэт как бы отворачивается от приснившегося ему будущего, видит темное пятно на просветленной действительности. *Марево* — вот восприятие, которое начинает пересекать тему *зари,* тему «Прекрасной Дамы». Говоря кратко: Арлекин — вот новый образ, вот новая волна образов. Просто отмечаем это пока. Подобно тому, как тема «Прекрасной Дамы» имеет, как солнце, свои отображения на стене, имеет свои отзвуки в теме «рыцаря» и какой-то «Дамы», так эта новая тема генетически в поэзии Блока рождается из некоторых стихотворений, где нота «Офелия — Гамлет» вводит впоследствии в тему «Прекрасной Дамы» и «рыцаря» первые еще звуки Пьеро — Коломбины. Морфология: Гамлет — Офелия, Пьеро — Коломбина.

Мы понимаем, что у поэта символы не случайны, — выражения организмов они. Кто такой Арлекин? Впоследствии мы из «Балаганчика» узнаем, что Арлекин увел Коломбину. Для разгадания этих символов следует сосредоточиться на смежном периоде поэзии Блока. Мы знаем, мы все повторяем лозунг Гете: «все преходящее только подобие». Символ есть соединение временного с безвременным, — «невозможное здесь свершилось, Вечно-Женственное нас влечет», по слову Гете. Мы видим, что эта тема проходит сквозь всю поэзию: Рафаэль — Форнарина, Данте — Беатриче. У Данте сфера Вечно-женственного, как вы помните, в его «Рае», есть та область, та сфера, где «вечная Роза цветет высоко», горная сфера; у Гете — это та область, где Фауст, перенесенный в духовный мир, видит в глубине Богоматерь и

говорит — «дай мне созерцать Твою тайну». У Данте Беатриче, девушка, выводит его к той сфере, где цветет вечная Роза, — и Фауста должна была вывести Гретхен, но Фауст не понял роли Гретхен, случился «роман», Гретхен умирает. В поэзии Блока опять-таки эта вечная морфология темы ведется в линии раздвоения, появляется не то девушка, не то «Прекрасная Дама», т. е. то одна, то две, и это раздвоение начинает расти, и расти, и расти в его поэзии.

Что это все значит? Это знаменует двоякое: если брать плоскость внутреннего поэтического пути, индивидуального, то это знаменует, что одними глазами, одними чаяниями зорь и образов не пройдешь к миру этих образов. Сам Александр Александрович говорит, что «не поймешь синего ока, пока сам не станешь, как стезя»; я перефразирую: нужно быть стезей синего ока; если ты видишь синее око, ты возьми это око в себя, перевоплоти его в свою волю, в свое чувство, и тогда возможно, что откроется дальнейшая связь грядущих образов. Но индивидуально-мистический путь, как бы он ни был ценен с той точки зрения, что дает много материала для анализа внутренней жизни, не есть путь, пока он не включит в себя проблему внешнего мира. «Синяя стезя» должна стать стезей внешнего мира. И вот здесь — линия двух встреч, где индивидуальный путь пересекается с коллективным. Это путь, который ведет к тому, что называется «имагинацией». Разложение этих волн фантазии есть закон, но он требует уже такой специализации себя на внутренней теме, что здесь уже поэзия «рыцаря Прекрасной Дамы», Блока, поднимает вопрос о том, что этот рыцарь должен пойти таким путем, каким пошел в жизни Александр Добролюбов. Добролюбов просто ушел из мира и, так сказать, начал путь какого-то нового делания. Александр Александрович, как максималист-революционер, доходит со всей остротой своего сознания до этого момента, касается этого момента в результате чего происходит неизбежное изменение образа в фантазии, с одной стороны, а с другой стороны — вводится извне действительность.

Прекрасная Дама по законам развития образов должна разложиться, — и вот второй этап, начало этого разложения, эпоха «Нечаянной Радости», которая нам может поверхностно казаться далеко не «радостью». Какая же это «нечаянная радость», — отчаянное горе! но если возьмем глубже, то действительно поймем: «нечаянная радость». Когда мы открываем второй том стихов — второй этап нашего поэта-философа, — то мы видим разительные изменения во всех контурах его образов. Во-первых, Она, та, которая должна преобразить весь мир до

конкретной действительности, — к ней обращение: «но *молчишь Ты,* поднявшая руки, устремившая руки в зенит»; поэзия процветания сменяется поэзией умирания. Но ведь и в духовных путях, у ищущих стезей, путей духовного мира, ставится сперва процветание, произрастание, расширение, а потом открывается увядание, смерть, — «тишина умирающих злаков, эти светлые в мире поля, сон заветных исполненный знаков» (да, да, сон знаков, и заветных, и исполненных) «что сегодня пройдет, как вчера, что полеты времен и желаний только всплески девических рук»…

И сейчас же вся органология, все «sicherliche»[1] в восприятии красок поэзии Блока меняется, исчезает заря и появляется лилово-зеленый тон. Об этом лилово-зеленом тоне вспоминаю: приблизительно в девятьсот пятом, шестом году Александр Александрович по поводу своей «Ночной фиалки» сделал мне признание о том, что его поражает в этом цветке, в ночной фиалке — встреча именно с этим цветочным сочетанием. Будем помнить, что цвета у поэта всегда не есть цвета просто, а символы каких-то глубин и целин. Сквозь лилово-зеленые сумерки идет лилово-зеленый цвет, которым светится ночная фиалка Блока. Вместо голубого цветка Новалиса, вместо посвящения в таинства Изиды — что мы видим? Покров сорван, неофит падает мертвым. Вот что делалось с тем, кто срывал покрывало с Изиды.

Есть такая символика: говорят, что когда человек подходит к порогу очень важного события своей внутренней жизни, то он переживает одновременно нечто ангелическое и нечто смертное; он должен как-то внутренне при жизни познакомиться со смертью, пережив нечто и смертное, и светлое. «Прекрасная Дама» — ангелический образ, и поэтому там — смерть: *«Фиолетовый* запад гнетет, как пожатье десницы свинцовой»… И кончается это так: «нам открылось: *мертвец* впереди рассекает ущелье». Кто же этот *мертвец?* он — ветхое сознание, раздвоение души, внешний «Александр Александрович», коллектив, а с другой стороны — личный Александр Александрович, индивидуальный. Этот разрыв, это раздвоение есть прямое следствие *зари,* и если переживается сначала одна сторона, светлая, то неизбежно переживается и другая сторона, темная. Тьма должна быть пережита.

И Александр Александрович, так же, как он максималистически подходил и делал последние конкретные выводы из оптимистической стороны своей философии, так же беспощадно начинает теперь шаг за шагом видоизменять этот свой прекрасный мир, начинает сознательно его разрушать, — тоже по законам внутреннего мира. И мы видим: вот, Она превращается в ту девушку, вокруг которой сидят мертвые короли

в поэме «Ночная фиалка». Эта девушка — королевна страны воспоминаний: стало быть, в памяти только, в воспоминании живет «Прекрасная Дама».

Это раздвоение образа «Прекрасной Дамы» соответствует раздвоению самого поэта: «но в туманном вечере нас двое, я вдвоем с другим в ночи». С кем же? — с самим собою. Или: «я, как месяц двурогий, только жалкий день серебрю, что приснился в долгой дороге всем бессильным встретить зарю». Это — органическое переживание, естественное на пути развития внутреннего самосознания. Вот именно это ощущение: «я жалкий день серебрю» — остается после былых богатств; разбитое корыто, сказка о рыбаке и рыбке, точная формула переживаний. Но вместе с тем «Прекрасная Дама» изменяет свой облик во внутреннем мире, она продолжает это изменение, делаясь «Незнакомкой», раздваиваясь между «Незнакомкой» и «звездой»; — потом звезда сверху падает — в Проститутку… Раздвоение идет своим нормальным путем до последних пределов, и Блок, с присущей ему «трагедией трезвости», с особым тщанием разлагает этот мир; но, с другой стороны, этот мир, сначала не узнанный, продолжается в нем: вдруг «в руке протянутой Петра запляшет факельное пламя», вдруг в город «небесный кузнец прикатил», и раздается совсем неожиданная у Блока нота: — «солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, наши гимны, и песни, и сны без числа!.. Опаленным, сметенным, сожженным дотла — хвала». Вспомните, наконец, стихотворение «Митинг», где над убитым революционером встает Ангел. Ангел, встающий над революционером! — стало быть, Она — не умерла, Она — только переменила свое имя; и Арлекин, уведший Коломбину, есть первая не узнанная личина, которая, становясь яснее, приводит Блока к революционеру-интеллигенту, в самом лучшем смысле слова. Революция — встает, она есть душа человеческая. Революционный переворот своего времени, осознаваемый Александром Александровичем до конца, органически как-то вступает в его поле зрения, — путь уединенный становится путем общественным. Был «рыцарь», Прекрасная Дама, потом вдруг появился кто-то третий, и Арлекин стал Пьеро; Арлекин, Коломбина — «третий принцип». Там, где появляется «третий принцип», появляются четвертый, пятый, шестой… там появляется *проблема общества.* Нельзя идти к внутреннему преображению, не преобразив общества. И убыванию одной ноты в поэзии Блока начинает соответствовать возрастание другой.

Вместе с этим здесь надо отметить еще один штрих, чрезвычайно важный для понимания органологии образов в поэзии Блока. Мы видели: изменяется цвет неба, — голубой тон,

туман, дымка романтическая оседает, появляется запах болота, болото замерзает — снег; и все, что истлевало в болотах, вся имагинация первого периода становится в замерзшем виде снежным вихрем, «Снежной Маской». Над этим вихрем — пустота, а вдали свет звезды, которая и нисходит в следующем периоде. Вот изменения Александра Александровича — здесь путь всех больших поэтов, ибо они одни и те же в своих многоразличиях.

Фауст, убив Гретхен или будучи причиной ее смерти, не поняв ее, переживает уныние, потом восстает; вскоре мы застаем его в придворном обществе, и дело идет о привлечении Елены Прекрасной на сцену. Мефистофель говорит: — ты можешь вызвать ее, но для этого ты должен сойти мир Матерей, и не советую тебе туда идти. Мефистофель боится: если Фауст пойдет к первично-целинному, которое находится ближе к миру богов, т. е. пойдет в мир Парок, которые правят судьбами самих богов, то Мефистофель потеряет власть над Фаустом. Но Фауст идет в этот мир Матерей — в этот безобразный мир. Гете характеризует этот мир, характеризует этих таинственнейших Матерей; вспомните у Пушкина: «Парок бабье лепетанье», — это вообще тема исконного, тема родового, но и тема страшного, потому что мир хаоса, пока к нему не прикоснешься, выглядит страшно.

Характерна эта поднимающаяся тема стихотворений «К матери» у Александра Александровича, это прикосновение к ночной стихии для того, чтобы, узнавши, набраться новых сил. «Сын не забыл родную мать, сын воротился умирать», возвратился осенью в дорогое, родное жилище. Перечтите все другие стихотворения Блока «Моей матери». Или тема эта выступает в другом аспекте: — «Она веселой невестой была, но смерть пришла, она умерла, и старая мать погребла ее тут»; и сейчас же далее: «но церковь упала в зацветший пруд». Какая церковь? — тот «страшный мир», который хотел преобразить Александр Александрович: — «Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц». Это не преобразилось, не стало святыней, а кануло в пруд и, канувши в воду, оно осуществилось: в «Балаганчике», где закостеневшие «мистики» стоят, как картонные, и невеста — картонная… «И старая мать погребла ее тут, но церковь упала в зацветший пруд… Миновали сотни и сотни лет… И счет годин старуха забыла; — как мир стара, как лунь седа, никогда не умрет (да, Матери — не умирают!) — никогда, никогда… А вдоль комодов, вдоль старых кресел мушиный танец все так же весел»… (— «Парок бабье лепетанье, жизни мышья суетня», — жизни *мушья* суетня — «я понять тебя хочу, темный твой язык учу»). Вот что происходит во внутреннем мире Александра Александровича, и это уже откладывается, как

понимание своего рода, потому что он — *понимает.*

Фауст из мира Матерей прямо на сцену приводит не сценическую Елену, а Елену, взятую им из мира Матерей, и эта Елена становится его женой, они рождают Эвфориона — «стремление к высшему». Но персонажи той сцены у Гете не знают, кто это — Елена Прекрасная ли, или кто? Они не могут понять, что для имеющих глаза и слух к мистике это — Елена, а для других — неизвестно кто. Словом, Фауст непосредственно из мира Матерей приводит в «Балаганчик» Елену, которая и должна поднять эту упавшую в пруд церковь. Прикосновение к непосредственной данности, к целинам, к истокам нашего бытия есть прикосновение к чаяниям жизни, которая дает цветы.

И опять органологически характерно стихотворение Блока этого периода «Моей матери»: «Я насадил мой светлый рай… (говорится про сад)… и бережно обходит мать мои сады, мои заветы, и снова кличет — сын мой! где ты? цветов стараясь не измять. Все тихо. Знает ли она, что сердце зреет за оградой? что прежней радости не надо»… (Да, не надо, ибо «прежнее» — нельзя консеровать и жить консервами былого периода; Александр Александрович никогда консерватором не был) — «что прежней радости не надо вкусившим райского вина». Это прикосновение к миру Матерей есть, таким образом, источник какого-то райского чувства, которое и выражается чудесно в стихотворении «Принимаю». «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!». Первое испытание — побеждено. Имя Елены сейчас же узнается. Это есть имя *России.*

Блок становится, прикоснувшись к земле, тут впервые нашим *национальным поэтом.* Он понял, что мировая София не может быть без оправы человеческой, но он понял еще и то, что эта оправа человечества без народного лика, без народной души, без прикосновения к корням народности не может дать плодов. Интернационал может быть только со-национал, ко-национал; «интер» — «лежащий между» — может быть иногда и тем мертвецом большим, о котором Гоголь говорит в «Страшной мести»: его грызут другие мертвецы. Этот «интернационал» должен войти в душу «национала» для осуществления, для конкретного воплощения человеческих задач.

Это все понял Александр Александрович. Низведение «Прекрасной Дамы» в хаос, в чернозем — продолжается, углубляется и конкретизируется, и в этом нисхождении появляются ноты прекрасного снисхождения, сердечности, расширенного сердца. Можно сказать, что теперь «Прекрасная Дама» существует для Александра Александровича в каждой

женской душе; в каждом сознании русском живет она, живет и продолжает жить, и ее имя — Россия, которая и становится женой поэта: «О, Русь моя! Жена моя!» Вот кто Прекрасная Елена, которую он вывел из хаоса.

И в это время нам становится понятным интерес Александра Александровича, казавшийся многим немотивированным, к народнической литературе, его даже переоценка слабых писателей (в статьях «Золотого Руна») с точки зрения этого глубокого пафоса к черноземно-русским поэтам. Это время, когда зачинаются в сознании Блока статьи о русской интеллигенции, потому что именно интеллигентское органистическое начало должно соединиться с народом. Но, увы, русская интеллигенция этого как раз и не делает, по его мнению. Не против интеллигенции, а за интеллигенцию говорит он (с девятьсот седьмого, восьмого года) горькие слова о русской интеллигенции, потому что есть интеллигенция и интеллигенция. Интеллигенция должна быть интеллигенцией большого Разума — Манаса, большого «Mens», который только и делает Манас из «Мапп», «Mensch», который есть всегда Манас, который делает человека «челом века».

Вот таким «челом века» начинает делаться расширенное сознание Александра Александровича, которое расширяется постольку, поскольку оно могло углубиться в глубочайшие сокровеннейшие темы. Продолжение темы «Прекрасной Дамы» есть органическое развитие всей линии искания, всего духовного максимализма, стремления воплотить в жизнь мечту, показать, что эта мечта не мечта, а наша действительность. Эта тема снисхождения и кротости появляется у Блока: — «Божья Матерь «Утоли мои печали» перед гробом шла, светла, тиха. А за гробом в траурной вуали шла невеста, провожая жениха. Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец… Но мертвец — родной душе народной: всякий свято чтит она конец». И далее, про невесту: «словно здесь, где пели и кадили, где и грусть не может быть тиха, убралась она фатой от пыли и ждала Иного Жениха»… И в других стихах, посвященных кому-то, но могущих быть посвященными каждой русской женщине: — «Не подходите к ней с вопросами, вам все равно, а ей — довольно; любовью, грязью иль колесами она раздавлена — все больно». Пока не полюбишь раздавленных во всей конкретной их раздавленности, облепленных грязью, во всей конкретности их грязи, до тех пор всякие превыспренности — ложь. Это и делает Александра Александровича поэтом, вобравшим в себя стихию России.

Луна есть мертвое тело когда-то бывшего солнца: Александр

Александрович в своем сознании как бы переносит в страну луны своего старого «мертвеца» — когда-то прекрасное индивидуальное мистическое прозрение, которое во всяком конкретном человеке *должно* быть; на мистике — не проживешь, но без мистики — ни одного действительно жизненного переживания не проведешь. Вот эта «луна», второе я, живет и продолжает по законам смерти естественный внутренний путь; та оболочка, — которою когда-то обволакивалась Прекрасная Дама, ставшая Незнакомкой, Проституткой, — с одной стороны, скрывает всякую русскую женщину, а с другой стороны, становится очень страшным лицом, лицом противообраза Прекрасной Дамы (образ равен противообразу!), о котором Александр Александрович говорит: — «Есть в напевах твоих сокровенных роковая о гибели весть, есть проклятье заветов священных, поругание счастия есть!..» А затем: — «И коварнее северной ночи, и хмельней золотого Аи, и любови цыганской короче были страшные ласки твои», — страшные потому, что видеть это разложение прежнего образа значит отразиться в противообразе. Это опять событие внутренней жизни, совершенно закономерное; и поэт — обречен; чему? — «Я обречен в далеком мраке спальной, где спит *она* и дышит горячо, склонясь над ней влюбленно и печально, вонзить свой перстень в белое плечо». А *она* отвечает тем, что заставляет его воскликнуть: — «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук!»

Этот «удар в сердце» вызывает такое сопоставление: в мистике утверждается, что подхождение к какому-нибудь порогу, рубежу, за которым идет новый этап сознания, всегда сопровождается чувством затруднения, как будто на пороге стоит Страж. Подходы к порогам внутренней жизни бывают неоднократны. Первый подход имеет вид встречи с Ангелом и прикосновения к смерти; второй подход имеет вид встречи со Львом. Помните рассказ Федора Сологуба, в котором некий Лев взламывает ударом лапы стену и вонзает когти в сердце подошедшего к опасному рубежу. Этот Лев — есть образ женский, и второе испытание состоит в способности перенести — удар Льва в сердце.

Второе испытание, вторая встреча — одолевается, и одолевается тем, что Александр Александрович становится *национальным поэтом,* воспринимает Россию, воспринимает с той суммой любви, которая перемогает эти остатки прошлого, консервированного мира. Когда он начинает говорить о России, то совершенно неизгладимые ноты звучат в его поэзии. Для всего можно умереть, но для чего жить? — «Лесть, коварство, слава, злато — мимо, мимо навсегда… Человеческая тупость — все, что

мучило когда-то, забавляло иногда… И опять — коварство, слава, злато, лесть, всему венец — человеческая глупость безысходна, величава, бесконечна… Что ж, конец? — Нет… *еще леса, поляны и проселки, и шоссе, наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты в овсе…* А когда пройдет все мимо, чем тревожила земля, Та, кого любил ты много, поведет рукой любимой в Елисейские поля». — И в дальнейших стихотворениях описывается Россия, страшная Россия, преступная, пьяная; и поэт говорит: — «да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне!».

Но он уже чувствует, что этой России грозит опасность. Тут его индивидуальное чувство и национальное чувство перекликаются. С одной стороны, он говорит России: — «Тебя жалеть я не умею», — иди, иди в проститутки, — да, ты Катька из «Двенадцати», ты блудила с офицерами, а теперь поблуди с солдатами. И вот при таком реализме поэт как бы говорит: — ив тебе, Катька, сидит Прекрасная Дама… И если Катька не спасется — никакой «Прекрасной Дамы» нет и не должно быть.

По этой линии идут углубляющиеся устремления Блока; он говорит о России: — «Тебя жалеть я не умею и крест свой бережно несу… Какому хочешь чародею отдай разбойную красу! Пускай заманит и обманет, — не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты»… А что забота — есть, что можно сгинуть, что надвигается опасность для самой внутренной души России — это поэт знал. И тут звучит великолепным синтезом изумительное творение Александра Александровича, которое перекликается и подает руку через несколько лет «Скифам» — «Куликово поле». Александр Александрович был национален, когда переживал период «зорь» в девятисотых годах; так же был он национален, когда остро переживал девятьсот седьмой год, год реакции; и так же он был национален в девятьсот восьмом году, когда он уже знал и сказал нам ясно о событиях четырнадцатого года и дальнейших годов… «Река раскинулась. Течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь! Наш путь — стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь! и даже мглы — ночной и зарубежной — я не боюсь. Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь… И вечный бой! покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль… И нет конца! мелькают версты, кручи… Останови! Идут, идут испуганные тучи, закат в крови! Закат в крови! из сердца кровь струится! плачь, сердце, плачь…

Покоя нет! Степная кобылица несется вскачь!». Россия несется навстречу к своим страшным годам, и как не вспомнить дальнейшее: — «к земле склонившись головою, говорит мне друг: — Остри свой меч, чтоб не даром биться с татарвою, за святое дело мертвым лечь!».

Что же происходит? Александр Александрович, переживший эпоху «Прекрасной Дамы», опять имеет видение: все Та же, — «и с туманом над Непрядвой спящей, прямо на меня Ты сошла в одежде, свет струящей, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда, наутро, тучей черной двинулась орда, был в щите Твой лик нерукотворный светел навсегда». И тут же — переход: — «Опять с вековою тоскою пригнулись к земле ковыли, опять за туманной рекою Ты кличешь меня издали»… И в последнем отрывке этих стихов — эпиграф из Соловьева: — «И мглою бед неотразимых грядущий день заволокло»: — «Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и, словно облаком суровым, грядущий день заволокла». Вспомните девятьсот восьмой, девятьсот девятый год — когда «за тишиною непробудной» отплясывали канкан и танго, когда существовало растленное общество эпохи реакции — ив эту эпоху он пел: — «За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молньи боевой… Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней! Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем. Теперь твой час настал. — Молись!»

Твой час настал, — настал час России; индивидуальных переживаний образа больше нет, есть образ коллективный — душа народа. И с этого времени мы уже не имеем индивидуально субъективного Александра Александровича, — перед нами поэт Русский, с большой буквы. Так следует подходить ко всем этим прекрасным образам Блока, от Прекрасной Дамы и до России.

Третьим испытанием является встреча с Драконом. Уже не Лев, а Дракон. Кто переживет это испытание, тот должен стать Георгием Победоносцем и убить этого Дракона, или быть им убитым. Это вполне конкретно и реально выражено в поэзии Блока. Чувство опасности возникает. Входит великолепный сэр и говорит: — «Пора смириться, сэр!». Александр Александрович субъективно чувствует ноты, о которых нам так несравненно рассказал Стриндберг в «Инферно», «Шхерах» и других произведениях. — «Есть игра: осторожно войти, чтобы вниманье людей усыпить; и глазами добычу найти; и за ней незаметно следить. Как бы ни был нечуток и груб человек, за которым следят, — он почувствует пристальный взгляд, хоть в углах еле

дрогнувших губ. Ты и сам иногда не поймешь, отчего так бывает порой, что собою ты к людям придешь, а уйдешь от людей — не собой». Вот это чувство «глаза индивидуального» есть не что иное, как чувство глаза того единственного образа, того нерукотворного образа, который в сердце Александра Александровича, как вы знаете, отныне отпечатан: России. К этому сводится дальнейшая идеология России: — Россия есть первая целина, она не Восток и не Запад, она — не варвары и не эллины. Шрадер в своих работах доказывает, что первейшее праарийское племя было расселено на юге России, и что уже потом две ветки индоарийского племени расселились — на Запад и на Восток. По теории Шрадера оказывается, что была исконная раса, и что стволом, не стволом даже, а между-двух-стволным маленьким завитком были *Скифы,* т. е. те первичные обитатели, которые, в себе сохранили что-то от исконного, исконно арийского; и несомненно, — я уже говорю теперь символически, — есть какой-то образ Скифианина, который встречается у нас, у современных искателей; это был «скифийский посвященный», это был духовный *Скиф.* Но начало будет всегда концом. Россия искони была не Востоком, не Западом, она должна стать не Востоком, не Западом, в ней встреча Востока и Запада, в ней есть, в ее личных судьбах, символ судеб всего человечества. Вот эта всечеловечность и человечность, вот эта идеология — делает Александра Александровича, во-первых, *Скифом,* во всех смыслах слова, как максималиста, как того, кто доводит свой ход мысли — не в абстрактных схемах, но в жизненных переживаниях — до конца. Это особенно его связует с судьбами русского народа, с судьбами народа, призванного примирить Восток и Запад, создать условия действительного братства народов. И когда разразилась мировая война, то Блок был один из немногих поэтов, воздержавшихся от всяких националистических стихотворений. Но какою же любовью к России, каким же вызовом, «какому хочешь чародею» — является этот звук «Скифов», написанных Блоком, вы помните, в каких условиях русской действительности: — когда русской армии уже не существовало, Брестский мир еще не был подписан, и все себя спрашивали — что же за положение создается? Александр Александрович именно в этом катастрофическом положении увидел начало первого конкретного шага, который так и не осуществился за Брестским миром: — не могли, не решились этого конкретного шага максимализма революционного провести до конца…

Александр Александрович является в «Скифах» своим лицом выразителем действительно народной души: «Мильоны — вас.

Нас тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы; да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами. Вот срок настал» (тот срок, о котором он говорил за восемь почти лет до этого: — «твой час настал») — «вот срок настал. Крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет — не станет и следа от ваших Пестумов, быть может! О, старый мир! пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред Сфинксом с древнею загадкой!»… (В одной этой фразе: — «Сфинкс с древнею загадкой» — опять-таки целое философское откровение, целые теории коренятся). «Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя» (в Запад) «и с ненавистью и с любовью!.. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит! Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит!». Дальше говорится о том, как мы любим все — «и сумрачный германский гений», и старую Галлию, и «лимонных рощ аромат», и «венецьянские прохлады» — да, мы берем это в себя, но не как синкретизм; мы, как долженствующие соединить Восток и Запад, мы, скифы, должны бережно вобрать в себя это все и положить не в мертвый музей, а в живой музей нашего сердца, нашего русского сознания. — «Придите к нам! От ужасов войны придите в мирные объятья! Пока не поздно — старый меч в ножны, товарищи! Мы станем — братья!» Да, братья, братья; «товарищи» — это только начало… Александр Александрович теперь уже знает, что политическая революция, — «граждане» — сон пустой, она взывает к социальной; и социальная революция («товарищи»!) — сон пустой, она взывает к духовной, к революции сознания. Если мы не исправим наших индивидуальных путей, если мы, реформируя экономику, не станем каждый «стезею» — какая же чертовская гримаса получается из всего этого!

«Товарищи! мы станем — братья!». Стали ли мы братья? — вот вопрос, который поднимает сознание Александра Александровича, — стали ли мы братья? Ведь это вопрос о том, быть или не быть, — стали ли мы братья? «А если нет — нам нечего терять, и нам доступно вероломство! Века, века — вас будет проклинать больное позднее потомство!.. Идите все, идите на Урал! Мы очищаем место бою» (— наш «бой» — не «Маркизова лужа» заговоров, даже война была «Маркизовой лужей» для подлинного максималиста) — «мы очищаем место бою» (— какому же бою?) «стальных машин, где дышит интеграл» (— механика) «с монгольской дикою ордою», — с волной еврейских погромов и других прелестей Востока, не вобравшего из всех трех революций — революции сознания. Да, стальной интеграл

натыкается на Восток, и в этом «интеграле» — и Ллойд Джордж, и «сэр», и те однобокие, материалистические, только материалистические, механические мировоззрения, которые вопреки всему конкретному продвигают свои контрреволюционные идеологии под флагом изжитого материализма. И на этом идеологи контрреволюции пытаются создать тот братский коллектив, который Александр Александрович всю жизнь искал на всех путях! Все его искания, весь его максимализм был — воплощение, воплощение и воплощение: довоплотить до *братства*; потому что «товарищ» — это еще недовоплощенный «брат»; «товарищ» — это еще официальное имя; пока «товарищ» не станет «братом» — не будет в «товарище» товарища. Так вот, если этого не будет, если «стальной интеграл» и Восток не сольются в Восток и Запад, если Россия не будет тем, чем она может быть и должна быть, если какой-то враг символический ее погубит, — третье испытание Дракона, и государственный Левиафан, безжалостный, стальной, съедающий, — что же будет тогда? Тогда — «мы очищаем место бою!.. Но сами мы — отныне вам не щит, отныне в бой не вступим сами! Мы поглядим, как смертный бой кипит, своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый Гунн в карманах трупов будет шарить, жечь города, и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить!».

В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда писались эти строки, Александр Александрович был в том же настроении, в каком он не раз в жизни бывал, начиная с ранних эпох стихов — «Будут страшны, будут несказанны неземные маски лиц». — А теперь — «в последний раз опомнись, старый мир!». Вот в каком настроении создаются «Двенадцать», которые выходят в это же время. Здесь та же линия. «Логос» Владимира Соловьева вошел в рыцаря, и не в рыцаря, а просто в Пьеро, а Пьеро стал — «только литератор модный, только слов кощунственных творец», и в нем — русский интеллигент; и дальше этот интеллигент стал босяком — «молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда!» — и, наконец, этот босяк стал Петькой из «Двенадцати». А «Прекрасная Дама» была «Незнакомкой», «Проституткой», и даже проституткой низшего разряда, «Катькой». И вот в Катьке и Петьке «Двенадцати», в том звуке крушения старого мира, который Александр Александрович услышал со всей своей максималистической реалистичностью, должно было быть начало восстания, начало светлого воскресения, Христа и Софии, России будущей: — впереди — «в светлом венчике из роз, впереди — Исус Христос». Да не так же это надо понимать, что идут двенадцать, маршируют, позади жалкий пес, а впереди

марширует Иисус Христос, — это было бы действительно идиотическое понимание. «Впереди Исус Христос» — что это? — Через все, через углубление революции до революции жизни, сознания, плоти и кости, до изменения наших чувств, наших мыслей, до изменения нас в любви и братстве, вот это «все» идет к тому, что «впереди», — вот к какому «впереди» это идет.

Я, товарищи, извиняюсь, что так много отнял у вас времени, но вы видите — даже краткий пробег по основным символам поэзии Блока, лишь краткое перечисление этих символов показало нам глубокую органологическую связь всего его творчества от «Прекрасной Дамы» до «Двенадцати». И вот, что же есть «Двенадцать»? — «Двенадцать» — не «стальной интеграл» и не Восток, не то и не другое, а нечто третье, соединяющее и то и другое, нечто совсем новое.

Можно ли Александра Александровича как поэта разрывать, можно ли его брать с эстетической точки зрения? Я знаю, что я бы, например, мог написать о словесных инструментовках и ритме поэзии Блока — целые тома, но было бы пошло и стыдно, если бы на эту тему я заговорил сегодня, здесь, где мы вспоминаем его.

Можно ли причислить Александра Александровича к тем или другим партийным влияниям? С Гете ведь всячески поступали. Но послушаем, что Александр Александрович говорил сам об этом своем периоде, — он сам, Блок «Двенадцати», какое понимание политическое придавал «Двенадцати» он. Вот заметка Александра Александровича о «Двенадцати», написанная им 1-го апреля 1920 года, которая нашлась после его кончины. Вольная Философская Ассоциация поручила мне, — по моей просьбе, — дать мне возможность обнародовать ее вслух. Вот она.

> «С начала 1918 года приблизительно до конца октябрьской революции (три — семь месяцев?) существовала в Петербурге и Москве свобода печати; т. е., кроме правительственных агитационных листков были газеты разных направлений и доживали свой век некоторые журналы (не из-за отсутствия мыслей, а из разрушения типографского дела, бумажного дела и т. д.); кроме того, в культурной жизни, в общем, уже тогда заметно убывавшей, было одно особое явление: одна из политических партий, пользовавшаяся во время революции поддержкой правительства, уделила место и культуре: сравнительно много места в большой газете, и почти целиком — ежемесячный журнал. Газета выходила месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на

втором номере был придержан, и потом — воспрещен. Небольшая группа писателей, участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно, что и было причиной терпимости правительства (пока оно относилось терпимо к революции). Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее даже собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поднимали против нее, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое. Иных из тогдашних врагов уже нет на свете, иные — вне пределов бывшей (и будущей) России; со многими я помирился даже лично; только один до сих пор не подает мне руки. Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года. Он отвечал мне, что не мог тогда сочувствовать движению, ибо с самого начала видел, во что оно выльется; меня же понимает постольку, поскольку знает, что я более «отдаюсь» стихии, чем он. Это совершенно верно: в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией»… (с тем звуком органическим, которого он был выразителем всю жизнь)… «например, во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги, или друзья моей поэмы. Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о

новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда».

Вот что говорит автор «Двенадцати», вот как он нас учит относиться к его созданию. Мы знаем различные интерпретации «Двенадцати». Одна из них такая: когда Александр Александрович перестал быть певцом «Прекрасной Дамы», появились у него в поэзии тройки и вино, и вообще его муза стала широкой русской душой, «катай-валяй»; и «Двенадцать» такая же широкая русская душа, — Катька, Петька, размах русской души. Это — черносотенное взятие «Двенадцати». Есть другое, — когда, не понимая, выхватывают «Двенадцать» из того фона, на котором эта поэма в двадцатилетние искания Александра Александровича нарастала, выхватывают и пристегивают к какой-то партии. Что же получается? «Двенадцать» выходит в купюрах, — два-три лозунга; например, можно вырезать: «мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» — как я видел на одном плакате — и останется от «Двенадцати» один плакат. С точки зрения такой поэзии можно Александру Александровичу уделить скромное место на той скамейке, на которой первое место занимает Демьян Бедный. Но не должны ли мы сказать и тройкам, и этим плакатам — «руки прочь!» Руки прочь от нашего национального поэта!

Привожу здесь для иллюстрации один личный случай. Я в течение года работал с кружком пролетарских поэтов, и я знаю, в их индивидуальных и личных выявлениях, как им дорог Александр Александрович. Не потому, что можно сделать такие-то или такие-то купюры для плакатов из его строчек, а потому что он вообще был прекрасным поэтом, потому что он писал так чудесно: «золотистые пряди на лбу, золотой образок на груди»… Возьмем стихи лучших пролетарских московских поэтов, например, тов. Александровича и др., — сколько там черт, которые бы никогда не преломились в их творчестве так, как они преломились, если бы не было музы Александра Александровича

Блока! Предоставьте говорить действительно пролетариату, а не окончившим — или неокончившим Университет интеллигентам, тем, против которых писал Александр Александрович. Эта интеллигенция— мелкая интеллигенция, господа! За интеллигенцию писал Блок, за интеллигенцию пролетарскую, за интеллигенцию крестьянскую, за интеллигенцию интеллигента, за интеллигентного человека, конкретного человека, стремящегося к свободе, равенству и братству. Вот к этому сводятся все чаяния Александра Александровича Блока.

Кончу тем, с чего начал — мы уплощаем национальных поэтов, мы берем из них только то, что нам нравится; а если бы мы пристально вгляделись в лик Пушкина, Гете, Блока, то увидали бы, что всю жизнь мы будем из этого бездонного моря, из моря символов, вычерпывать темы. Возьмем же образ Александра Александровича, переживем этот образ, проведем его, как разорванного Диониса, между тройками и плакатами, выведем его из нашего «царя в голове», не свергнутого самодержавия старого мира. Когда этот «царь в голове» будет свергнут, тогда действительно настанет третья духовная революция, которая и приведет к мистерии человеческих отношений, о которых всю жизнь мечтал Александр Александрович.

Александр Александрович в своем третьем испытании, в своей третьей ставке — задохнулся, задохнулся в том издыхании Дракона государственности, который опахнул его. Этот третий страшный порог и был собственно порогом восхождения Александра Александровича от нас в ту страну воспоминаний живой мысли, в которой он и продолжает общаться с нами. И Александр Александрович, если мы воскресим его в нашей памяти, будет долго еще в десятилетиях тем организующим центром, который всякий раз будет вставать между нами, когда мы соберемся и погрузимся в память о нем; судьба этого русского Фауста есть судьба всякого крупного человека-поэта.

Фауста разложили Лемуры, но Ангелы отобрали его младенческое сознание, — его приносят в духовный мир, где стоят три Гиерофанта — гиерофанты ума, свободы, равенства, братства, философии — Софии, любви и воли. Там, в этой из века загаданной «Вольной философской ассоциации», в треугольнике этом возникает он по-новому, там умирает Фауст «in Puppenzustand». Многие из нас берут эту последнюю сцену как сумятицу образов. Возьмите по-другому. Фауст видит Божию Матерь, или Символ всего космического, одновременно и человеческого, и созерцает тайну Ее; в глубине Она идет в сопровождении трех грешниц — Марии Египетской, Марии Магдалины и Гретхен, — это три музы Александра

Александровича. Мария Египетская — это та, чей образ земной вонзал ему в сердце французский каблук. Есть в его поэзии и тот образ земной, который в душе русской, падающей, и в падении своем остается святым — образ Марии Магдалины; и третий образ, образ Гретхен — образ той, кто первая его встретила, той, которая должна была быть для него Беатриче, — образ «Прекрасной Дамы», которая превратилась в следующем этапе — мы видели — в королевну страны воспоминаний. Там эти три образа, три музы сливаются опять в один образ, в тот образ, о котором Владимир Соловьев сказал: «в свете немеркнущем новой богини небо (максималистский утопизм) слилося с пучиною вод» (с конкретной человеческой жизнью). Такое слитие — не разрешение вечных загадок, а слитие двух линий в одну линию — вся жизнь Александра Александровича. И мы стоим перед этой жизнью, прислушиваемся к шагам ее и будем еще долго-долго прислушиваться…

Сотворим же в своем сознании вечную память нашему любимому, близкому, в наши страшные годы с нами бывшему, русскому поэту.

А. З. ШТЕЙНБЕРГ

Хотелось бы поделиться воспоминаниями об одном небольшом, но весьма примечательном эпизоде из последних лет жизни Блока, об эпизоде, не совсем случайным свидетелем которого мне пришлось быть. В вечер 15 февраля 1919 года по ордеру Петроградской Чрезвычайной Комиссии А. А. Блок был арестован у себя на квартире и немедленно препровожден в помещение Комиссии на углу Гороховой и. Адмиралтейского проспекта, где он и оставался до утра 17 февраля, когда ему снова возвращена была свобода. С утра воскресенья, 16 февраля, до самого освобождения А. А., т. е. ровно сутки, я провел с А. А. почти неразлучно в хорошо известных многим петербуржцам сводчатых комнатах № 94, 95 на верхнем этаже дома прежнего Градоначальства. Эти сутки нам пришлось провести почти неразлучно в буквальном смысле этого слова, так как из-за непомерно большого количества арестованных, недобровольные жильцы этих слишком густо населенных комнат делили служившие и для сидения, и для спанья койки, и появившийся в 95-й комнате утром в воскресенье Блок, ночь спустя после моего водворения в одном из ее углов, рад был поделиться ложем с единственным еще с воли знакомым ему человеком.

Следует заметить, что и А. А., и я попали сюда по одному и тому же делу или, правильнее сказать, по одному и тому же поводу, так как дела, как это очень скоро и выяснилось, в сущности, никакого и не было. Не лишним будет поэтому, может быть, предпослать самим воспоминаниям об арестованном Блоке несколько слов о тех обстоятельствах, которые привели к этой неожиданной для меня встрече с А. А. в столь необычной обстановке и которые сделали эту встречу не совсем случайной.

За три или четыре дня до ареста Блока в Москве Всероссийской Чрезвычайной Комиссией вторично, после кратковременной легализации, арестован был центральный комитет партии левых социалистов-революционеров, и началась ликвидация партийных организаций по всей России. Об этом я узнал в пятницу утром, в день моего ареста и накануне ареста Блока, от него самого, когда, явившись по обыкновению на заседание Научно-Теоретической Секции Театрального Отдела, застал там, кроме постоянных ее участников, еще и А. А., тоже работавшего в то время в Театральном Отделе и являвшегося председателем его Репертуарной Секции. Поздоровавшись, А. А. сказал мне:

— А Вы знаете, Р. В. арестован…

Он был заметно взволнован, и его слова прозвучали отрывисто.

— Как?

— Вы еще не читали сегодняшней газеты? Тут я развернул утренний выпуск «Северной Коммуны» и прочел подробное сообщение о московских арестах в связи с раскрытием «заговора левых социалистов-революционеров»; среди арестованных было несколько хорошо мне известных имен, но об аресте в Петербурге Р. В., члена нашей Теоретической, а также Репертуарной Секции, ничего не упоминалось. Тем не менее, связь обоих происшествий не вызывала сомнений.

— Надо немедленно что-либо предпринять… — снова отрывисто и решительно произнес Блок. — Я переговорю с Всеволодом Эмильевичем.

В. Э. Мейерхольд занимал должность заместителя заведующего Театральным Отделом Народного Комиссариата по Просвещению и был наиболее близок к представителям правительственной партии. Блок тут же рассказал все подробности ареста Р. В., которые он знал от жены арестованного, и изложил свой план действий.

Волновало его больше всего то, что арестованный, как он слишком хорошо знал, был только писатель, и вся его практическая деятельность сводилась исключительно к тому, что он последовательно отстаивал свои убеждения и верования в литературе. А между тем он был арестован больной и с сильно повышенной температурой. Последнее обстоятельство особенно встревожило А. А., и он очень опасался, как бы арест и предполагавшееся отправление арестованного в Москву не отразились на нем роковым образом. Несомненная вздорность обвинения — участие Р. В. в заговоре — превращала весь этот случай в сплошную нелепость, и в то же время дело шло, как казалось А. А., не больше и не меньше, как о жизни близкого человека.

План действий Блока был прост. Близкие и литературе, и правящей партии люди, и первым делом Мейерхольд, должны взять арестованного на поруки, покуда следствие, в чем никто из нас не сомневался, не выяснит совершенную непричастность Р. В. к делу, если таковое вообще существует. Вместе с тем Блок предложил устроить соединенное заседание обоих секций, в которых работал Р. В., для принятия формального постановления о незаменимости арестованного как работника, чтобы личное ходатайство поручителей поддержать также и ходатайством официальным. В случае неуспешности этого пути, Блок

предполагал обратиться еще с особой просьбой к Горькому.

Блок спустился вниз к Мейерхольду и вскоре вернулся, с сообщением, что мы сейчас можем начать заседание, в котором примет участие и В. Э. Через несколько минут все были в сборе, предложение А. А. было, конечно, принято единогласно и осталось только написать самый текст постановления. Покуда секретарь составлял текст, Блок, по-прежнему проявлявший, несмотря на свою не покидавшую его и теперь внешнюю сдержанность, все признаки сильного волнения, выкуривал одну трубку махорки за другой и, наконец, в явном нетерпении, взял лист бумаги и сам начал что-то писать, думая над каждым словом, зачеркивая, исправляя и снова восстановляя первоначально написанное. Между тем, секретарь наш уже кончил и огласил проект постановления.

— Да, так лучше, — сказал А. А., — я сам хотел написать, но у меня ничего не выходит.

Постановление переписывалось на машинке. Блок интересовался, как и когда оно будет доставлено по назначению, считал недостаточным послать его по почте и успокоился на этот счет лишь тогда, когда Мейерхольд предложил немедленно отправить бумагу на Гороховую с курьером.

Бумага была приготовлена. Блок предложил лично всем на ней расписаться, заседание кончилось, но всем как-то не хотелось расходиться.

План А. А. был выполнен только отчасти. В беседе выяснилось, что никак невозможно взять арестованного на поруки без его ведома и согласия. Снестись же с ним не представлялось возможным так просто: он был строго изолирован, как, впрочем, и все арестовывавшиеся по распоряжению Чрезвычайной Комиссии.

Все были явно неудовлетворены. Наше бессилие помочь было слишком очевидно. Когда я, уходя, подал А. А. руку, он, чуть-чуть улыбаясь, сказал мне:

— Не встретимся ли мы с Р. В. гораздо скорее, чем предполагаем?

Предчувствие его очень скоро оправдалось, хотя и не вполне.

В тот же вечер ко мне на квартиру явились незваные гости с ордером Чрезвычайной Комиссии на производство обыска и на арест независимо от результатов обыска. Последнее обстоятельство сильно встревожило моих домашних.

— Не расстраивайтесь, — утешал их руководивший арестом агент Комиссии — у нас сегодня список большой, и все — писатели, художники, профессора.

Мне вспомнились сказанные на прощание слова Блока.

Список действительно был большой. По крайней мере, в помещении для арестованных при Василеостровском Совете Депутатов, куда собирали арестованных на одном только Васильевском Острове, я очутился в обществе М. К. Лемке, К. С. Петрова-Водкина и А. М. Ремизова. Как на следующее утро выяснилось, мы ночевали в квартире, которую занимал прежде Ф. К. Сологуб. Из квартиры этой он был лишь недавно выселен, и Ремизов, как и Петров-Водкин, нередко здесь бывавшие, отлично ее знали. Не хватало только самого хозяина квартиры, хотя по имевшимся сведениям в списке Чрезвычайной Комиссии значился и он.

За утренним кипятком мы стали обсуждать, какие такие причины столь неожиданно собрали в столь неожиданном месте. Я рассказал о последнем соединенном заседании двух секций Театрального Отдела, и тут Петрова-Водкина осенило.

— Постойте! Постойте! — воскликнул он. — Теперь все понятно! Это не кто иной, как наш дражайший Р. В., да вот еще — Философская Академия. Но раз так, то непременно должен быть арестован и еще кое-кто, и непременно Блок. Все, миленькие, встретились; все там будем!

Упомянутая Петровым-Водкиным «Философская Академия» был тот кружок, который всего лишь за несколько дней до этого в последний раз собрался на квартире у арестованного Р. В. Это был кружок основателей будущей Вольной Философской Ассоциации, к которому с самого начала принадлежал и Блок. Догадка Петрова-Водкина оказалась правильной: весь упомянутый «длинный список», как в последствии выяснилось, был не чем иным, как копией со списка адресов, записанных в книжке у Р. В.; при допросах же Р. В. в Москве следователем ВЧК Вольная Философская Академия играла далеко не последнюю роль.

Как бы там ни было, перспектива встретиться с автором «Двенадцати» на пресловутой «Гороховой» уже не казалась слишком фантастичной.

Однако, когда нас в субботу днем перевезли в трамвае туда, Блока там еще не было. Мы долго дожидались следователя. Лишь поздно вечером нас допросили, и очень скоро всех, кроме меня, отпустили. Меня же, впредь до выяснения некоторых обстоятельств, отправили наверх.

По порядку, заведенному на Гороховой, каждое утро сообщался список арестованных, препровождавшихся отсюда в места более постоянного заключения, главным образом, на Шпалерную, в так называемую «Предварилку». И в это утро, воскресенье 17-го февраля, список был сообщен, и камеры

значительно разгрузились. Многие койки освободились совершенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура входившего Блока.

Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины человеческих бед. Одна ночь в этой совершенно особой и ни с чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспоминания — одной такой ночи достаточно было, чтобы на все лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось одно и то же страстное желание: поскорее бы вон отсюда! подальше, подальше отсюда!

Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его входящим в переполненный вагон трамвая: чуть-чуть откинутая назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно ищущий на чем бы остановиться. Он вошел, как будто собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упругим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется на глухую стену и должен будет остановиться или даже отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, хотя после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч.

Но взгляд его уже встретился с моим, и мы невольно улыбнулись друг другу и крепко пожали друг другу руку. Теперь я уже не просто смотрел на Блока, а удивлялся, почему с ним поступили иначе, чем с другими моими спутниками. Мы обменялись новостями.

Вот что я узнал от него: в приемную к следователю внизу он попал уже около полуночи, очевидно, очень скоро после того, как меня оттуда препроводили наверх. При личном обыске, производившемся при первой регистрации до водворения в приемную, у него из вещей, бывших при нем, забрали только записную книжку. В приемной у следователя он провел целую ночь, так как до поздней ночи следователь был занят, а затем прервал свою работу до утра. Приемная была полна народу, не переставшего прибывать всю ночь.

Всю ночь он провел поэтому почти без сна, и только какой-

нибудь час поспал, растянувшись не то на скамье, не то на полу. Лишь сейчас утром его допросили, и в результате — вот он здесь.

— Да, но в чем же дело? О чем Вас спрашивали? Что Вы отвечали?

Его спрашивали, как и всех нас раньше, о нашей связи с партией левых социалистов-революционеров. На вопрос этот Блок ответил, что связь сводится к сотрудничеству в разных изданиях партии — и только, так что он даже не знаком ни с кем из ее политических деятелей. Но в чем же выразилось его сотрудничество? — В печатании стихов, например, поэмы «Двенадцать», и статей. — Что мог бы он еще прибавить к своим показаниям? — Ничего больше. Через некоторое время ему сообщено было, что освободить его не могут, и его отправили сюда наверх.

— Придется посидеть, — с виноватой как бы улыбкой сказал А. А.

Между тем, освободившиеся после утренней разгрузки койки уже все давно были разобраны, а народ все прибывал. Приходили одиночки, как и Блок, направляемые сюда снизу разными следователями; появлялись и небольшие новые партии, переведенные из разных других мест заключения для дальнейших допросов; среди тех и других были и такие, которые отсюда могли быть отправлены прямо на казнь.

Камера гудела, как улей. Тут все были и знакомы, и незнакомы друг с другом. Во всяком случае, одно каждый верно знал о каждом, что нет тут ни одного, кто согласился бы остаться здесь добровольно хотя бы одну лишнюю минуту. Это всех как-то уравнивало и стирало все различия умственного уровня, привычек прошлого, все различия возможного будущего. Все приведены были к какому-то одному общему знаменателю. Были же тут люди самые различные. Среди знакомств, которые быстро завязались здесь у Блока, были представлены все классы общества — от генерала и до пьяного извозчика, служившего в Чека, от профессорского сына, высокопросвещенного ценителя новейших муз до неграмотного ямбургского крестьянина, превосходившего всех лишь в одном искусстве — непрерывно сквернословить. Были тут и спекулянты, и взяточники, и убийцы, и честные революционеры, и просто ни в чем неповинные люди. Но все эти знакомства начали завязываться у Блока несколько попозже. Покуда что мы стояли безмолвно у стола подле моей койки, присматриваясь и прислушиваясь и с лихорадочной поспешностью выкуривая папиросу за папиросой.

— А видите, — вдруг обратился ко мне А. А., — третьего дня я верно подумал, что история с Р. В. коснется и нас. — И сейчас

же, как бы почувствовав некоторую естественную между нами в этой обстановке близость, он прибавил:

— Можно мне на время остаться здесь?

Так мы стали соседями по тюремной койке.

За время, прошедшее с раннего кипятка до появления Блока, у меня уже составился обширный круг знакомств в этом хаотическом и непрерывно текущем миру. Некоторые знакомства завязались еще внизу, в приемной у следователя. Покуда Блок, растянувшийся на нашей койке, дремал после бессонной ночи, я присел к столу, за которым сидело несколько политических. Это были все левые эсеры, рабочие и матросы, которых в эти дни арестовывали десятками. Они уже знали, что и я арестован в связи с измышленным заговором левых социалистов-революционеров, и естественно заинтересовались также и моим знакомым, только что поселившимся в моем углу. Я назвал Блока.

Трудно передать их изумление, когда они услышали это имя.

— Не может быть! Не может быть! — все повторял моряк Ш., годами сидевший в тюрьмах дореволюционных и уже успевший познакомиться и с тюрьмами революционными. — Впрочем, все может быть, — прервал он самого себя: — только знаете, это фактик не только биографический, но и исторический!

Матрос Ш. сам был немного литератор, он подробно изучал историю революционного движения среди моряков и даже кое-какие результаты своих исследований успел напечатать. Другие товарищи его не так быстро справились с подвернувшейся им трудной задачей.

— Но позвольте, однако, товарищ, — обратился ко мне один из рабочих: — ведь товарищ Блок сочинил «Двенадцать» — так?

— Ну, конечно.

— А это вещь какая: революционная или контрреволюционная?

— Думаю, что революционная.

— Как же революционная власть может товарища Блока сажать на Гороховую?

Я предпочел ответить вопросом:

— А вы-то сами, товарищ, революционер или контрреволюционер?

Он улыбнулся, радуясь наперед моей легкой победе над ним:

— Ну, уж вы меня не обижайте: и без того обидно.

— То-то! — сказал я.

— То-то! — повторил он, и все весело засмеялись кругом.

Между тем, весть о том, что здесь известный писатель Блок, уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и на цыпочках

подходили к койке, на которой он дремал, чтобы взглянуть на него, и снова отходили в раздумьи, односложно делясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, хотя бы понаслышке, многие только слышали о нем и уже совсем немногие читали его. Эти последние были почти исключительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, что вот здесь, на этой «Гороховой два», вместе со всеми «известный писатель» и, взглянув на него, все уже потом с участием, которое сохранилось к нему весь этот день до самого его освобождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое доброе чувство.

Очевидно, сам внешний облик Блока внушал всем, что именно таким должен быть собою «известный писатель», и что это человек, во многом отличный от других.

Покуда А. А. дремал, я оставался героем всей камеры. Но вот он очнулся и подошел к нам. Немедленно завязался диспут. Затеял его бывший кавалерийский офицер С., и вот по какому поводу.

С. прославился на войне необыкновенно лихим набегом в глубокий тыл германского расположения. Об этом подвиге в свое время писали во всех газетах, а фотография героя обошла все иллюстрированные приложения. С. считал себя поэтому большой знаменитостью и, знакомясь с кем-нибудь из арестованных, он произносил свою фамилию с гордостью, ожидая как будто немедленного изъявления преклонения и восторга. Но, конечно, мало кто знал так точно хронику войны, и в большинстве случаев лихому кавалеристу приходилось самому как-нибудь заводить разговор о войне и о ее героях. Внимание, которое привлекал к себе Блок? пришлось ему не совсем по вкусу. Когда Блок подошел к нашему столу, С. немедленно представился:

— Какова ирония судьбы! — сказал он. — Моя фамилия С. — повторил он. Блок промолчал.

— Вы, может быть, слышали о деле… — и он назвал какое-то число 15-го года, и тут же еще раз рассказал про блестящий подвиг, им совершенный.

— Так вот я говорю: как будто бы нам с Вами место не здесь, а на самом деле — как раз наоборот, и я всем это объясняю, хотя и никто не хочет согласиться. Ведь социализм — это что? Равенство, так? — Равенство! Ну, так значит, ни у кого никаких знаков отличия быть не должно. Вот у меня забрали полученного мною, не скажу, чтоб не по заслугам, Георгия и совершенно справедливо! Вот Вы пишите стихи и пользуетесь заслуженной известностью — это тоже своего рода Георгий, значит, забрать Вас!

Блок спросил его:

— А Вас разве за то арестовали, что Вы отличились на войне?

— За то или не за то — моя фамилия С., и в этом все дело.

— Ну, батенька, — сказал один из моряков социалистов-революционеров. — И мнение же у Вас про социализм… — и он энергично начал характеризовать прежнее офицерство, войну и ее прославленные подвиги. Блок заступился за кавалериста, на которого начали уже наседать со всех сторон:

— Вы к нему несправедливы, — сказал он, — существует и такое представление о социализме. Еще большой вопрос, какое представление о нем победит в жизни. Он повторяет не только белогвардейские слова, но и слова некоторых из социалистов.

— Такой социализм наш худший враг, — сказал моряк Ш.

— Однако, — возразил А. А., — вот же Вы говорите это не на свободе, а в тюрьме.

— Верно, Александр Александрович, Вы правы. Товарищ С. не так уж глупо рассуждает!

— Однако, — обратился ко мне А. А.: — Шигалевщина действует: и прямо, и навыворот.

Приближался час обеда; все разбрелись к своим койкам составлять «пятерки». Дело в том, что обед заключенные получали не каждый в отдельности, а сразу пять человек в одной большой деревянной миске. Заключенным самим предоставлялось разбиваться для этого на партии по пяти человек. Приходилось отказываться от «буржуазных» привычек. В Блоке, только что узнавшем про обеденные порядки, боролись привычная брезгливость с сильным аппетитом.

— А Вы будете обедать? — спросил он меня.

— Да, я думаю, как все!

— А знаете, было бы хорошо с этими настоящими товарищами, — сказал А. А.: — Они все какие-то чистые.

Это, действительно, было так. Среди пестрой массы арестованных политические отличались не только выражением своего лица, но и поразительной чистоплотностью. Арестованные моряки и рабочие, между тем, уже взяли нас, неопытных «интеллигентов», под свое покровительство. К нам подошел моряк Ш.

— А Вы все еще ни к кому не пристроились? Хотите к нам, А. А.?

— Если можно…

Мы стали в очередь, и Ш. начал подробно объяснять Блоку, почему он рад видеть его здесь:

— Писатели все должны видеть своими глазами. Кто сможет сказать, что он пережил русскую революцию, если он ни разу не побывал в Чрезвычайке. Вот теперь Вы и с этой стороны увидели

дело.

— Но с этой стороны я никогда не хотел видеть революцию, — возразил Блок.

— Значит, Вас интересует только парад!

— Нет, не парад, — снова возразил Блок, — а настоящая правда, здесь разве она есть?

Они явно не понимали друг друга и говорили о двух разных правдах. Блок с усмешкой обратился ко мне:

— Вот Вам случай пофилософствовать по-настоящему.

Но философствовать нам в данную минуту уже не пришлось. Уже суп был налит в нашу миску, мы получили каждый по куску хлеба и по деревянной ложке и вернулись к нашему столу. У всех нас были кое-какие собственные запасы, и мы выложили их тут же на стол. Затем мы приступили к исполнению обряда: каждый по очереди опускал ложку в миску, на дне которой плавали кусочки конины, и, проглотив свою ложку супу, дожидался, пока очередь снова дойдет до него. Все мы, очевидно, были одинаково «деликатны», и когда миска опорожнилась, вся конина оказалась в неприкосновенности на дне.

— Эх, деликатные вы! — сказал рабочий П. и тут же взял газетный лист, оторвал от него пять лоскутов бумаги, достал свой перочинный нож и стал накладывать каждому по равному числу кусочков мяса.

Блок раскраснелся от горячей похлебки; вся обеденная церемония, видимо, привела его в хорошее расположение и, с трудом разжевывая жесткую конину, он начал шутить:

— Зачем же Вы, товарищ П., себе тоже положили на бумажку, могли бы свою порцию оставить в миске.

— Нет, это уже оставьте! По-товарищески, так по-товарищески, чтоб всем было одинаково…

Обед кончился. Большинство арестованных растянулось на койках. К Блоку подошел хорошо одетый господин и, поклонившись, торжественно произнес:

— Позвольте представиться! Ваш искреннейший почитатель! — Начала их разговора я не слышал; А. А. убедил меня расположиться посвободнее на койке, и я задремал.

Когда я, приблизительно через час, проснулся, господин с хорошими манерами, прислонившись к столу, все еще беседовал вполголоса с Блоком, сидевшим на краю койки у моих ног, или правильнее, господин все еще продолжал говорить, а Блок молча его слушал.

— Понимаете, Александр Александрович, — говорил искреннейший почитатель Блока, — для меня между внешним видом книги и ее внутренним содержанием дисгармония

немыслима: переплет — это как бы аккомпанемент к стихам. Ну вот, например, «Ночные часы» — Вы понимаете, как трудно подобрать тон кожи; иль решить вопрос: одноцветный корешок или же под цвет обреза. Совершенно ясно, например, что «Ночные часы» не допускают золотого обреза. Да, но какой же? Наконец, я остановился на голубовато-синем. Знаете, такого цвета, как плащ у Мадонны Леонардо. Вы согласны со мной, Александр Александрович?

— Да, разумеется.

— Ах, Александр Александрович, если б Вы знали, что для меня значит:

«Не жаль мне дней, ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны»!

И он почти шепотом декламировал одно стихотворение за другим. — Или это, например:

«Она ждала и билась в смертной муке».

— Как Вы много знаете наизусть, — сказал А. А., — пожалуй, больше моего.

А искреннейший почитатель, ободренный похвалой Блока, то вполголоса, то снова совсем шепотом, продолжал читать и читать стихи, перемежая их отрывками из своей собственной биографии. Когда он, наконец, растроганный и утомленный, отошел к одному из своих ближайших товарищей по несчастью (он с двумя спутниками был задержан при попытке переправиться через финляндскую границу), Блок, повернувшись ко мне, сказал:

— А Вы знаете, за такое добродушие невольно прощаешь все! И притом они все теперь в такой беде. Жалко, что ему не удалось перебраться за границу.

Наступили сумерки. В первой камере уже зажгли электричество. Кое-где играли в карты. Распивали чай. Много курили. Некоторые из политических, к которым за это время успели прибавиться еще два правых эсера-интеллигента, вели разговоры на злобу дня. В их углу было наиболее шумно, и внимание Блока невольно обратилось в ту сторону. Среди споривших выделялась высокая видная фигура стройного старика

в военной форме. Он молча и внимательно прислушивался к спору, от поры до времени снисходительно и иронически улыбаясь. Его строгое лицо, бритое, с коротко остриженными усами, казалось удивительно знакомым.

— Вы не знаете, кто это такой? — спросил меня Блок: — Я как будто где-то видел его. Это как будто кто-то из видных жандармских генералов.

В это время свет подали и в нашу камеру, и при ярком освещении фигура казавшегося столь знакомым незнакомца еще резче выделилась среди болезненного вида рабочих и изможденных лиц интеллигентов.

— Он как будто исполняет работу последнего из своих подчиненных, — заметил Блок. И в самом деле, этот несомненно бывший сановник как будто подслушивал с очень прозрачной целью горячие речи споривших между собою правых и левых эсеров. Они же не обращали никакого внимания на него, и постепенно лицо его так и застыло с язвительной улыбкой на губах. Блок не сводил с него глаз:

— Это первое определенно неприятное лицо, которое я вижу здесь, — сказал он. Сановник, как будто почувствовав пристально устремленный на него взгляд, повернул голову в нашу сторону, и глаза его встретились со взглядом Блока. Он быстро отвел их, лицо его изобразило какую-то полупрезрительную гримасу, и он, наклонившись к ближайшему своему соседу, стал его о чем-то расспрашивать.

— Он Вами также заинтересовался, — сказал А. А.

— Какое старорежимное лицо, — задумчиво произнес Блок.

Тут к нам с приглашением на «чашку чаю» подошел левый эсер матрос Д., и Блок пересел к другому столу. Я же принял вызов сразиться в шахматы и часа на два потерял А. А. из виду.

Когда я после боя вернулся в наш угол, Блок сидел за столом с юным матросом, который рассказывал ему о разных своих похождениях. Арестован он был за то, что заступился на рынке за какую-то обиженную милицией бабу: ему пригрозили, он выхватил револьвер, милиционеры набросились на него, побили, а при обыске у него в кармане нашли левоэсеровскую прокламацию. Так и он приобщен был к «заговору левых эсеров».

— Эх, — сказал он, поднимаясь с табуретки, — самое верное средство — это проспать до лучших времен. Отправляюсь в дальнее плавание, — и он протянул руку, как если бы он действительно собирался в далекое путешествие.

— Он милый, — сказал А. А. — Какие они все милые!

— А Вы не скучали?

— Нет, знаете, тут много очень интересного.

К нам подошел правый эсер О.

— Блок, не правда ли? И Вы среди заговорщиков?

Блок улыбнулся.

— Я старый заговорщик.

— А я не левый, я правый эсер.

Блок ответил, как бы возражая:

— А я совсем не эсер.

— Однако, заговорщик?

— Да, старый заговорщик, — с прежней улыбкой ответил А. А.

К нам присоединился новый собеседник, всего только недавно попавший в нашу обитель, с которым я успел познакомиться за шахматной доской. Это был молодой помещик Ж., из лицеистов, кажется, сын адмирала, уже не только с хорошими, но даже с изысканными манерами.

— А я, — обратился он ко мне, возобновляя прерванный разговор, — все-таки не могу понять, как образованный человек может быть социалистом.

Блок улыбнулся. Ж., уже знавший, кто такой Блок, обратился прямо к нему:

— Вы улыбаетесь? Простите, мы не знакомы, но ведь тут поневоле приходится sans facon.[2] Неужели Вы не согласны?

— Нет, не согласен. Почему Вы так думаете?

— Но помилуйте, — воскликнул Ж., — Ведь социализм нельзя себе и представить без egalite.[3] Но неужели и Вы будете утверждать, что все одинаково умны, одарены, талантливы? Я думаю, что вся наша беда в том, что мы слишком скромны. В России образованное сословие всегда хотело опуститься до уровня массы, а не возвысить ее до себя. Теперь за это расплачивается вся Россия.

— Не думаю, чтоб мы были слишком скромны, — сказал Блок, — да и неизвестно еще, расплачивается ли Россия.

— Да, я слышал, что Вы революционер. Но Вы, кажется, меньшевик?

В глазах Блока блеснул веселый огонек.

— Нет, — сказал он, — я не меньшевик, да и вообще ни к какой партии не принадлежу.

— А я никогда не слышал, чтобы были беспартийные революционеры.

А. А. рассмеялся:

— По-Вашему, бывают только беспартийные контрреволюционеры?

Молодой человек отошел разочарованный. Блок сказал:

— Опять шигалевщина навыворот!

Время проходило довольно быстро. Вскоре после ужина все окончательно разбрелись по своим углам, и мы с А. А. также улеглись на нашу общую койку.

— Как Вы думаете, что с нами будет? — спросил А. А. — Я думаю, — сказал я, — что Вас очень скоро отпустят, а мне еще придется посидеть и, вероятно, переселиться на Шпалерную.

— А у меня такое предчувствие, — сказал Блок, — что мы с Вами еще долго будем так вместе. Когда я пришел утром сюда наверх, я справился, нет ли здесь Р. В., но мне сказали, что его уже отсюда перевели. Быть может, мы нагоним его там, на Шпалерной; а затем, вероятно, в Москву? Это длинная история.

Я еще раз попросил его рассказать подробно о разговоре со следователем; выходило так, что его сдержанность и лаконичность, да еще, пожалуй, то, что он в изданиях преследуемой партии помещал не только стихи, но и статьи — что это было единственным основанием для иного отношения к нему, чем к другим задержанным накануне писателям. Самое неблагоприятное впечатление, несомненно, произвела его лаконичность; так лаконично во все времена отвечали следователям и инквизиторам лишь самые заклятые враги всякой святой и светской инквизиции.

— А Горький знает о Вашем аресте?

— Да, знает и наверное сделал все, что в его силах; но, очевидно, что в данном случае и он ничему помочь не может. Уже прошли целые сутки.

Половина ламп была потушена. Все кругом спали или собирались заснуть, кое-где раздавались стоны: это кошмары напоминали забывшимся о страшной действительности. В каком-то углу слышно было стрекотание: перебранка из-за просыпанной нечаянно на пол махорки. Не спал и не пытался заснуть лишь тот старик со «старорежимным лицом», как охарактеризовал его Блок, который с своей стоявшей у противоположной стены койки все время то поглядывал в нашу сторону, то снова поднимал глаза к потолку, о чем-то тревожно думая. Он снова привлек внимание А. А.

— А это ведь несомненно жандармский генерал, и ему грозит большая беда. Но его даже почти как-то не жалко. Мне раньше казалось, что я его где-то видел, но нет, это просто тип бросился в глаза. Ведь я много их видел почти в таком же положении.

И Блок стал мне рассказывать о своей работе в Верховной Следственной Комиссии при Временном Правительстве. К сожалению, я не помню точно характеристик отдельных деятелей старого режима, которые он давал при этом; эти характеристики заключались большей частью в одном-двух эпитетах, сразу

намечавших профиль. Иногда он попутно касался и представителей нового правительства. Меня заинтересовало, какое впечатление на Блока производил сам А. Ф. Керенский.

— В нем было нечто демоническое, — сказал Блок, — и в этом тайна его обаятельности.

— Но что же это за демон? — спросил я. — Уж во всяком случае не «глухонемой».

— О нет, — сказал Блок, — такова, например…

— И он назвал имя одной известной писательницы.

— Среди женщин таких много, среди мужчин их почти не встречаешь.

— Ну, а среди старорежимных сановников Вы заметили нечто подобное?

Тут Блок стал подробно объяснять, по каким мотивам он взял на себя работу в Следственной Комиссии: он никак не мог убедить себя, что весь старый уклад один сплошной мираж, и ему хотелось проверить это на непосредственном опыте. Но опыт этот привел его к результату еще более крайнему: что все это было не только миражем, но какою-то тенью от тени, каким-то голым и пустым местом.

— У этих людей ничего не было за душою. Они не только других обманывали, но и самих себя, и главное, продолжали настойчиво себя обманывать и после того, как все уже раскрылось с полной очевидностью. Единственный человек, быть может, у которого душа не совсем была мертва — это была Вырубова. Да и вообще, среди них распутинцы были гораздо человечнее. Но общая картина — страшная.

— Ну, а теперь разве лучше? — сказал я.

Блок задумался, затем, приподнявшись на локте и как бы в чем-то извиняясь, сказал:

— Я думаю все-таки, что лучше.

— Ну, вольнодумство и любомудрие как встарь, так и поныне не признаются гражданскими добродетелями, — сказал я, имея в виду, между прочим, и потерпевший крушение план наш об учреждении свободной Философской Академии.

Разговор перешел на отдельных участников нашего кружка и, в связи с теми или иными лицами, на занимающие их планы, на их чаяния и разочарования. Блок при этом проявлял исключительную субъективность и говорил не столько о людях, сколько о непосредственном чувстве, которое они и их проявления в нем вызывали.

Беседа наша затянулась часов до трех, и мы прерывали ее несколько раз только для того, чтобы побороть то и дело снова надвигавшуюся опасность: клопов. А. А. лежал ближе к стенке и

самым педантичным образом уничтожал их, сползавших откуда-то сверху по свежевыбеленной стене.

Наконец, утомление взяло верх, мы пожелали друг другу покойной ночи, и А. А. скоро заснул крепким сном. Как сейчас помню эти ставшие вдруг огромными глазные впадины, слегка раскрытый рот, всю голову, запрокинутую назад с выражением бесконечной усталости и какой-то беспомощности. При отпевании в церкви лицо Блока отдаленно напоминало своим выражением тот образ, который запечатлелся у меня в ночь, когда я, переутомленный впечатлениями дня, еще долго не мог заснуть и, размышляя Бог знает о чем, вглядывался в черты этого ставшего мне на минуту столь близким человека. Все как будто спали; не спал, кроме меня, один только генерал со «старорежимным лицом».

— Товарищ Блок!

Человек во всем кожаном громко назвал имя и ждал отклика, но «товарищ Блок» спал крепко и не откликался. Я указал агенту на А. А., а сам не без труда разбудил его.

— Вы товарищ Блок?

— Я.

— К следователю!

Блок поднялся и молча, протирая глаза, пошел вслед за ним.

Было около четырех ночи. Я не сомневался, что этот поздний вызов может означать только скорое освобождение, и мне хотелось дождаться возвращения А. А. за вещами. Я развернул книжку. Все еще не спавший «жандармский генерал» быстро спустил ноги с койки и, чуть-чуть поколебавшись, встал и направился прямо ко мне:

— Разрешите прикурить…

Я видел, что это только предлог и вопросительно смотрел на «генерала».

— Скажите, пожалуйста, — обратился он ко мне, — Ваш приятель — это ведь писатель Блок? А он по серьезному делу?

Я сказал, что по всей вероятности, его сейчас освободят.

— Понимаете ли, — начал мой поздний гость, очевидно, давно собиравшийся поделиться тем, что у него на душе, — я в совершенно таком же точно положении. С минуты на минуту жду решения участи. Ах, какая это мерзкая, низкая личность! Представьте себе только: отправляюсь вчера в моторе на Николаевский вокзал, там меня ждет салон-вагон, чтобы отвезти на Восточный фронт (я начальник всей артиллерии одной из действующих армий), и вдруг меня самым неожиданным образом задерживают и препровождают сюда. Такая мерзкая, низкая личность! Это донос! И я понимаю, если бы это еще было из

каких-нибудь честных побуждений, а то просто низкая интрига и ничего больше! Не он получил назначение, а я, и вот готов потопить человека самым гнусным способом. Но я не боюсь, меня сам Лев Давидович лично знает (он имел в виду Троцкого), я потребовал, чтобы немедленно отправили телеграмму ему. С минуты на минуту должен быть ответ… (он посмотрел на часы). Уже четыре часа!.. Однако, я думал, что, быть может, ночью уж не вызывают, но вот позвали же приятеля Вашего.

Волнение его возрастало с минуты на минуту. Было ясно, что дело для него идет действительно не больше не меньше, как о всей его участи. Он продолжал:

— Я, понимаете ли, загадал, что если мне суждено на этот раз уйти невредимым от этой гнусной клеветы, то выйду я не позже, чем этот вот Ваш приятель. Вы удивляетесь? Я, видите ли, наслышался здесь о нем, ведь это тоже такая судьба: видный революционер — и вдруг здесь! И не то чтоб там какой-нибудь переворот, или что-нибудь такое…

— Ну, какой же он видный революционер: это писатель, и даже не писатель, а поэт.

— Ну, не говорите, такие люди самые опасные. Я всегда так рассуждал. Не будь у нас всех этих графов Толстых и тому подобных, никогда не произошло бы то, что случилось, это несомненно.

— Скажите, генерал, разве Лев Толстой не стоит какой-нибудь потерянной провинции? Вы не согласны с этим?

— Ну, да, Вы человек не русский, Вам легко так рассуждать. А посмотрите, в конце-то концов, теперь разве не то же, что и раньше было? Я, знаете, это быстро уразумел. Генерал всегда есть генерал; без генералов армии быть не может; и великая держава не может быть без сильного правительства. А раз есть правительство, то должна быть и тюрьма, и расстрелы, и все, что хотите. А такие люди, как Ваш приятель, они всегда элемент нежелательный, и каждый серьезный государственный деятель это отлично знает.

Я принужден был согласиться, и он еще долго пояснял свою мысль примерами из самого недавнего своего опыта. Наконец, Блок вернулся. В глазах у генерала сверкнуло злорадство.

Блоку вернули взятую у него записную книжку, потребовали кое-каких объяснений по поводу некоторых адресов и записей, сказали, что дело его скоро решится, и отправили обратно наверх. Он сам, как и при первом допросе, ни о чем не спрашивал.

Генерал поднялся с нашей койки и сказал:

— А я, пожалуй, еще успею Вас нагнать! Вот сосед Ваш

объяснит Вам, — обратился он к Блоку, — а теперь желаю покойной ночи.

Я передал Блоку нашу беседу.

— Мы, очевидно, с первого взгляда узнали друг друга, — улыбнулся он. — Ну, а теперь надо попытаться снова заснуть.

Проснулись мы довольно поздно. В камере жизнь уже шла своим обычным порядком, уже начали готовиться к очередной отправке на Шпалерную, когда снова появился особый агент и, подойдя к Блоку, сказал:

— Вы — товарищ Блок? Собирайте вещи… На освобождение!

Затем он с таким же сообщением направился к «генералу».

Блок быстро оделся, передал оставшийся еще у него кусок хлеба, крепко пожал руку моряку Ш., матросу Д., рабочему П. и попросил передать привет не оказавшемуся поблизости «искреннейшему почитателю». Мы расцеловались на прощание.

— А ведь мы с Вами провели ночь совсем как Шатов с Кирилловым, — сказал он.

Он ушел.

Так кончилось кратковременное заключение того, кто называл себя сам в третьем лице — «торжеством свободы».

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

В воскресенье, 7-ю августа, в Вольной Философской Ассоциации было обычное открытое заседание, — мы слушали доклад о Гете, — когда пришла не слишком неожиданная и все же ошеломившая весть: *сегодня утром умер Блок…*

Было это всего три недели тому назад — и как будто года прошли с тех пор: так смерть эта перерезала нашу эпоху на две совсем разные части — «до» и «после». Смерть эта — не рана в душах наших, которая затянется, заживет; смерть эта — не разрезала, а отрезала; не порез, но разрыв, не рана, но ампутация. Смерть Блока — символ; он умер — умерла целая полоса жизни.

И вот — всего три недели прошло, а уже можно смотреть в это прошлое историческим взглядом, нужно вспоминать, поднимая в памяти крепко залегшие, но такие близкие пласты, что, казалось бы, рано еще будить их к жизни. Вот почему, быть может, было правдиво наше первое чувство, когда мы было решили не устраивать никаких заседаний «памяти Блока», предоставив это тем, кто может теперь о Блоке говорить спокойно. Я говорю — быть может, это первое чувство было правдивым, но обстоятельства заставили нас от него отказаться: не успел Блок умереть, как справа и слева — или, вернее: справа и справа — стали раздаваться всякие случайные голоса, которые хотели из Блока сделать свое знамя — даже не знамя, а какой-то боевой вымпел. Мы же — твердо верим, что Блок есть знамя целой эпохи, и знамя только самого себя; и литературным и политическим партиям, желающим причислить его к себе, надо с самого же начала сказать — руки прочь! Руки прочь! — кто хочет из Блока сделать поэта прошлого времени; руки прочь! — кто из Блока хочет сделать поэта «будущего» в кавычках.

Но это — не моя задача сегодня; Андрей Белый в своей речи коснулся этого, дав облик цельного Блока, облик поэта-Диониса, не разорванного Менадами. Моя задача иная: вспомнить об отношении Александра Александровича к Вольной Философской Ассоциации, членом-учредителем которой он был. Но наша «Вольфила» создавалась и росла в бурном процессе кипения эпохи, и в отношениях А. А. Блока к Вольфиле мне — да и всем вам — может быть интересно лишь то, что отражало самую эпоху, начиная с семнадцатого года. Я расскажу только очень немногое, — многого не скажешь не потому, что времени мало, а потому, что время еще не пришло; это многое могло бы составить целую книгу, которая, вероятно, никогда не будет написана. Итак

— из многого ограничиваюсь только очень немногим.

Мне придется начать несколько издалека, с года революции, чтобы рассказать об отношении Александра Александровича к Вольной Философской Ассоциации; придется быстро пройти по широким и крутым ступеням, годам революции, чтобы самому себе ответить на вопрос: как это случилось, что поэт революции не пережил революции. Мы знаем теперь: не душа Блока изменилась — изменилась душа революции; ни от чего Блок не отрекся, но он задохся, когда исторический воздух, очищенный стихийным взрывом, снова отяжелел и сгустился. Не в радостный час победы умер Блок; но смерть была его победой.

Когда после прерванного заседания нашего 7-го августа я зашел в последний раз наедине попрощаться с Александром Александровичем и увидел его уже на столе в пустой белой комнате, то хоть и не время было вспоминать стихи Блока, — не до стихов было, — но сразу вспомнилось: «Иль просто в час тоски беззвездной, в каких-то четырех стенах, с необходимостью железной усну на белых простынях?» Вот они, передо мною, эти четыре стены… И знаю я: подлинно, «в тоске беззвездной» уснул навеки среди них поэт. Простор революции — и смертная тюрьма; взорванный старый мир — и четыре стены; радость достижений — и беззвездная тоска. Как же могло, как могло свершиться это? Ведь не обман же памяти: «Все это было, было, было, свершился дней круговорот; какая ложь, какая сила тебя, прошедшее, вернет?» И как могла после того буйного воздуха стихии, которым поэт и мы дышали в «Двенадцати» и в «Скифах», появиться такая беззвездная тоска, от которой и умер поэт?

Тоски беззвездной не знал он в том семнадцатом году, с которого начинаю я эти краткие воспоминания. Я поздно встретился с Александром Александровичем — всего за десять лет до его смерти; но здесь я не коснусь двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого года, эпохи «Розы и Креста», эпохи третьего тома стихотворений Блока, когда так часто приходилось видеться с ним и вести часами и ночами затягивавшиеся разговоры. Об этом — не сегодня. Были речи с ним до войны — о войне, до революции — о революции; были долгие беседы о символизме, в котором А. А. Блок видел (как и в войне, как и в революции) попытку *прорыва* омертвелых тканей хаотического Космоса или, что то же, космического Хаоса (его слова). Но, повторяю, об этом — не теперь. Теперь вспомню лишь о том, как встретились мы с Александром Александровичем уже летом семнадцатого года, после почти двухлетнего перерыва наших былых встреч. Вихрь последних лет войны и полугода «февральской революции» лежал между нами, когда в середине

июля мы случайно столкнулись в трамвае и с полчаса потом вместе шли по улице.

Кто мы и где мы? не на разных ли полюсах земли? Ведь эпохи сменились за эти два года, и быть может, говорим мы на совсем разных и чуждых языках? Старые годы наших бесед целыми ночами в уютном редакторском кабинете «Сирина» — подлинно уже старые годы, и все былые уюты — дела давно минувших дней. Уж не жалеть ли о них? — Я знал прекрасно, я твердо верил — хотя и ставил эти риторические вопросы, — что так «ощупывать» друг друга совсем не нужно; я шутя напомнил, говоря о современной эпохе «керенщины», что «всемирный запой» не излечивается никакими «конституциями» — если даже они носят имя «политической революции» (стихи Блока: «А вот у поэта — всемирный запой, и мало ему конституций»…). Блок улыбнулся, но тут же согнал улыбку с лица и сказал: «Да, знаете, — душно!» В пятнадцатом, в шестнадцатом году было тоже душно, но по-иному; была духота предгрозовая, была духота подвала. Но вот стены разрушились, гроза разразилась — но снова душно, хотя и по-иному: душно потому, что пытаются стиснуть, оковать стихию революции, которая ворвалась в жизнь, но еще не весь сор смела с лица земли. И мы поняли, что незачем нам говорить о партиях, о направлениях, но лишь о тоне и ощущении подлинной революции; где она, там был и Блок. В «керенщине» он задыхался.

Вскоре после этого мы встретились вторично и уже не переставали видеться до последнего года. Я зашел к А. А. Блоку вскоре после первой встречи и принес ему недавно вышедший первый том сборника «Скифы». Вспоминаю об этом потому, что идея этого сборника связана не только с позднейшими «Скифами» Блока, но и с Вольной Философской Ассоциацией, зародившейся еще годом позднее. Идея духовного максимализма, катастрофизма, динамизма — была для Блока тождественна со стихийностью мирового процесса; только случайным отсутствием Александра Александровича из Петербурга и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в «Скифах». Первый сборник, посвященный войне, вышел в середине 1917 года, второй, посвященный революции, тогда уже печатался; я сказал Александру Александровичу, что не представляю себе третьего (предполагавшегося) сборника «Скифов» без его ближайшего участия. Он был уже знаком со «Скифами» и тотчас же ответил согласием. В «Скифах» тогда принимали то или иное участие почти все те, кто позднее так или иначе вошли в Вольную Философскую Ассоциацию.

К концу 1917 года, уже после октябрьской революции, вышел

второй сборник «Скифов», опять без произведений Александра Александровича; он должен был появиться впервые в третьем. Кстати рассказать: в первом сборнике было напечатано стихотворение Валерия Брюсова «Скифы», и тогда мы говорили с Александром Александровичем, насколько эти брюсовские «Скифы» мало подходят к духу сборника (настолько мало подходят, что, печатая их, мы, редакция сборника, сами переименовали их в «Древних скифов» — так и было напечатано), говорили и о том, какие «Скифы» должны бы были быть напечатанными, чтобы скифы были скифами, не «древними», а вечными. А. А. Блок напомнил об этом разговоре тогда, когда в начале восемнадцатого года дал мне прочесть только что написанных своих «Скифов». Вместе с тогда же написанными «Двенадцатью» они должны были открыть собою третий том нашего сборника.

Но времена переменились — не до «сборников» больше было. Жизнь после Октября кипела и бурлила, неслась бешеным темпом. Все силы наших сборников были перенесены с весны 1918 года в ежемесячный журнал «Наш Путь», а еще ранее того, с осени 1917 года, в литературный отдел газеты «Знамя Труда», где и были напечатаны через немного дней после написания и «Двенадцать», и «Скифы». Помню, как торопил меня с их печатанием Блок, — «а то поздно будет»: ожидали наступления германцев и занятия ими Петербурга.

Кружок «Скифов», «Знамени Труда», «Нашего Пути» — тот кружок, о котором говорил А. А. Блок в своей посмертной записке о «Двенадцати». «Небольшая группа писателей, — говорит в ней Блок, — участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно, что и было причиной терпимости правительства (пока оно относилось терпимо к революции). Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее даже — собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поддерживали против нас, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое».

Пройдем мимо этого и мелкого, и гнусного, и острого, мимо той травли, которой подвергся из всей группы больше всех именно Блок за свои «Двенадцать». Именитые поэты наши, травившие тогда Блока, печатно сообщавшие, что отказываются выступать на одних с ним вечерах и не подававшие ему руки — уже наказаны в полной мере: их имена перейдут потомству в этой связи с именем Блока… Глухие, они не слышали в те дни того «шума от крушения старого мира», того «слитного шума», который слышал он, того «шума», о котором двумя

десятилетиями ранее сам он говорил: «Но ясно чует слух поэта далекий гул в своем пути»… К слову: вся судьба Блока в этом юношеском стихотворении. Помните: «Он приклонил с вниманьем ухо, он жадно внемлет, чутко ждет; и донеслось уже до слуха: цветет, блаженствует, растет… Все ближе — чаянье сильнее, но, ах! — волненья не снести… И вещий падает, немея, заслыша близкий гул в пути»… Я сказал — здесь вся судьба Блока; да, с той лишь разницей, что не от приближенья гула он «пал, немея», а от смертельной тишины старого мира, сменившей собою пронесшийся гул. Глухие не слышали его; другие — слышали и не слушали: ненавидели. Оставим их, и мелких, и гнусных, и острых.

Я не буду касаться и той «одной из политических партий», о которой говорит в своей записке Блок, и которой органами были и «Знамя Труда», и «Наш Путь». Или — только два слова. Наша «скифская» группа соединилась не на политической платформе, не на этом пути сошлись все мы с А. А. Блоком, и только те, которые именовали всех нас «прихвостнями правительства», говорили, что мы, дружно работавшие вместе и в газете «Знамя Труда», и в журнале «Наш Путь», состоим на иждивении партии левых социалистов-революционеров. Нет, «скифы» — не партийны, но они и не аполитичны. Правда вот в чем: левые эсеры были тогда единственной политической партией, понявшей все глубокое значение культуры вне всякой политики, партией, предоставившей нам экстерриториальность в своих органах (весь «нижний этаж» газеты, весь литературный отдел журнала были в нашем полном распоряжении); эти «политики» поняли, перед каким мировым явлением они стоят, когда впервые читали «Двенадцать» и «Скифов» Блока. И хотя с тех пор партия эта раздробилась и раскололась, хотя ей были суждены всяческие удары, хотя Александр Александрович не был, конечно, никогда членом ни этой, ни какой бы то ни было партии, но все же, поминая его, помянем добром и тех, отошедших, которые чутко отнеслись к поэту, поняв его величину и значение.

Но это только к слову. Возвращаюсь к Александру Александровичу, к его переживаниям весною 1918 года. Острые это были переживания, он сам говорит; и уж, конечно, не было в них и следа «тоски беззвездной». Нет, не тоска была — был вихрь, смерч, стихия-поднималась, катастрофа старого мира чуялась, и поэт «в последний раз отдался стихии»; была вера, была надежда, что революция не остановится на своем социальном рубеже, что она перейдет через эту ступень, что она пойдет и по другим, менее проторенным и более высоким путям. Вот почему так болезненно сжался Блок, когда знаменитый «Брест» стал ответом

жизни на его «Скифов», когда в середине 1918 года уже ясно определились дальнейшие пути русской революции. Блок сжался и потемнел; горение кончалось, пепел оставался; медленно приступала к сердцу «беззвездная тоска». Да, как сам он сказал десятилетием раньше: «И неслись опустошающие, непомерные года, словно сердце застывающее закатилось навсегда»…

Зиму 1918–1919 года он переживал как «страшные дни» (так надписал он одну подаренную свою книгу в декабре 1918 года). Он вспыхнул было в последний раз при известии о новой волне революции — в Германии; но скоро погас. «Страшные дни» обступили его. Он видел их в прошлом, он провидел их в грядущем. «Мы, дети страшных лет России — забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть?» Так говорил он до войны, так чувствовал он после революции. Sic transit gloria revolutiae! Начинается тихая сапа старого мира; дни стихийного взлета революции — не вернутся. «Времена не те!» — надписал мне Александр Александрович на экземпляре «Двенадцати» 1-го марта 1919 года. И тихо, тихо, но беспощадно въедалась в душу поэта беззвездная тоска.

Слушайте революцию! — говорил нам поэт годом раньше. Этого клича поэт теперь не повторит — и не потому, чтобы отказался от него. Слушайте революцию, конечно; но помните, что есть революция и революция, что есть революция, которая строит мир новый, и есть революция, которая укрепляет корни мира старого, — «и если лик свободы явлен, то прежде явлен лик змеи, и ни один сустав не сдавлен сверкнувших колец чешуи»… Этой змеей, этим змием была для поэта государственность, и в ее возрождении чуял он возвращение старого мира. Помните, в «Двенадцати»: «скалит зубы — волк голодный — хвост поджал — не отстает»… И из волка вырос он в огромного всепожирателя Левиафана. И какими бы лозунгами ни прикрывалась победа Левиафана, но для поэта стихии, для поэта, который так чувствовал «дух музыки», она — всегда победа старого мира, уничтожение ростков мира нового.

«Тоска беззвездная» заполонила душу поэта. Иногда он пытался стряхнуть ее, пытался верить в новые близкие взлеты, пытался иной раз вернуться к живой вере, построить ее хотя бы на мелких фактах. Припоминаю: как-то ранней весною 1919 года возвращались мы с ним ночью по грязи и снежной слякоти с одного литературного вечера, проходили пустынным Невским, где ветер свистел в разбитые стекла былых ресторанов и кафе. Идя мимо этих разбитых окон и заколоченных дверей, Александр Александрович вдруг приостановился и, продолжая разговор, сказал: «да, много темного, много черного, — но знаете что? Как

хорошо все же, что мы не слышали сейчас румынского оркестра, а, пожалуй, и впредь не услышим»… Румынский оркестр — как символ старого мира! Если бы А. А. Блок не был так болен в последние месяцы своей жизни, он узнал бы, что и это вернулось; проходя по улице мимо освещенных окон ресторанов и кафе, он услышал бы и звуки румынского оркестра. И разве случайно заболел он и умер после марта 1921 года, того марта, когда окончательно определился последний уклон революции, новый ее круг?

Но я слишком далеко зашел в своих воспоминаниях, объясняя разрастание «беззвездной тоски» поэта; вернусь назад, к моменту ее зарождения, к весне и лету 1918 года. Газета и журнал, в которых работала наша «скифская» группа, — перестали существовать; о третьем сборнике нельзя было и мечтать ввиду развала типографского дела и других условий. Дорога печатного слова была закрыта — оставалось обратиться к слогу живому. Так зародилась в конце 1918 года идея Вольной Философской Академии, впоследствии переименованной в Ассоциацию. В ноябре была опубликована (во «Временнике Театрального Отдела») записка об этой Академии, подписанная Блоком и еще тремя учредителями; в большой напечатанной, но не увидевшей света афише открытие назначалось в феврале 1919 года докладом Блока «Катилина, — эпизод из истории мировой революции» (позднее работа эта вышла отдельной книжкой). В январе состоялось собрание учредителей Академии, среди которых, кроме Блока, присутствовали Андрей Белый, Петров-Водкин, Конст. Эрберг, А. Штейнберг и др., но официальное запрещение названия «Академии» (якобы конкурирующей по заглавию с «Социалистической Академией» в Москве) и февральский арест ряда участников, о котором рассказал в своей речи А. З. Штейнберг — отсрочили рождение Ассоциации до ноября 1919 года, когда состоялось ее открытие. Первым докладом был доклад Блока — «Крушение гуманизма».

Я не собираюсь рассказывать про дальнейшую историю Вольфилы в связи с работой в ней А. А. Блока. Внешне участие его в ней было мало заметно; только раз еще выступил он в августе 1920 года и, открывая собрание, прочел замечательное слово о Владимире Соловьеве. Кстати сказать: именно в эти дни он в последний раз был в светлом, приподнятом настроении, именно в эти дни в последний раз покинула его беззвездная тоска. И быть может, в этом последнем луче жизни был хоть малый отблеск и вольфильской работы. Я видел Александра Александровича вскоре после этого заседания, и помню, какими светлыми и хорошими словами говорил он (не мне одному — часто говорил

он об этом многим близким ему людям) о том, что Вольфила теперь для него — единственное дорогое и светлое место, что хотя на соловьевском заседании многое было неудачным, «невольфильским», но в общем стоит и надо продолжать работу. Что такое было для него «вольфильство», почему здесь он чувствовал самое для себя близкое и дорогое (его слова) — надо ли объяснять? Он видел здесь продолжение работы той былой «скифской» группы, с которой он был так тесно душою связан. Но наша малая искра не могла надолго рассеять мрак его беззвездной тоски.

Да, впереди упорная и долгая работа — быть может, поколений! — над выработкой нового человеческого сознания. Но стихийного взлета мирового пламени — нам уже не дождаться. Правда, мы живем теперь в эпоху невероятных событий, быть может, самое невероятное станет возможным и осуществится, но в гранях человеческого «здравого смысла» (— который был так ненавистен Блоку!), наше поколение уже видело гребень волны, неслось на нем. Начался спад, революция кончилась — и Блок ее не пережил.

Чувство душевной опустошенности — в нем прошел последний год жизни А. А. Блока. «В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота»: эти строки, написанные до войны, Блок, говорю я, мог бы повторить и после революции. И в потрясающем стихотворении «Говорит Смерть» — недаром говорит о поэте она, освободительница: «Он больше ни во что не верит, себя лишь хочет обмануть, а сам — к моей блаженной двери отыскивает вяло путь»… И зашумел ветер за окном, — не тот «ветер веселый», который бурею проносился в «Двенадцати», не тот «ветер, ветер на всем Божьем свете», гул которого услышал поэт в мировой революции, — нет, другой ветер, другой вестник… «Зачем склонился ты лицом так низко? Утешься: ветер за окном — то трубы смерти близкой!» И смерть пришла, отворила дверь и саван царственный принесла ему в подарок.

Так умер Блок — от «роковой пустоты» сердца, от великой любви и великой ненависти. «Такой любви и ненависти люди не выносят, какую я в себе ношу». Да, надо было уметь любить и ненавидеть, чтобы отнестись к жизни так, как отнесся к ней Блок. Он был конкретный максималист — сказал о нем его друг, его брат, Андрей Белый. И именно потому связал он свое имя с Революцией — не с той политической, не с той социальной, которые, хотя и велики сами по себе, но пишутся с маленькой буквы, а с той единой и подлинной Революцией, которую недаром и сам он писал с большой буквы, с той, которую он назвал и другим именем в своих произведениях. Да, он умел любить и

ненавидеть. Он умер, потому что был подлинным духовным максималистом. Он умер, потому что был лучше нас. А вот мы — мы еще живем.

Живем — но неужели только от слабости духа? Поистине — нет: живем мы верою, живем светом, который видим впереди. Свет этот угас для Александра Александровича — и обуяла его «беззвездная тоска». Вспоминается мне: — поздней осенью 1920 года говорили мы с ним как-то о Вольфиле, о ее работе, о ее «скифских» задачах; он говорил о ней много сердечных слов, интересовался планами на будущее, потом остановился, помолчал и вдруг спросил: «скажите, а вы верите? Я начинаю не верить»… Во что? Что это было — отречение от «Скифов», от «Двенадцати»? Из посмертной записки его мы знаем — нет. Это было неверие не в само дело, а в людские силы. Да, в Вольфиле мы стремимся не дать угаснуть в нашем поколении искре вечной Революции, той последней духовной Революции, в которой единый путь к чаемому Преображению. «Я начинаю не верить», — сказал Блок, — не верить в то, что мировую искру можно раздуть слабой человеческой грудью, ее может раздуть в пламя только стихия. Но когда теперь снова придет стихия — мир загорится; нам же еще века, быть может, скитаться в пустыне, но вера наша, столп огненный — перед нами. Этой вере мы служим по мере сил в Вольной Философской Ассоциации; великим служением этой же вере была вся жизнь и сама смерть Александра Александровича Блока.

И теперь, без него, мы будем продолжать во имя его наше дело. «Без него» — еще жутко выговорить, трудно осознать, и недаром наше первое чувство было — молчание. Для нас Блок был слишком близок и дорог, чтобы в первые часы, дни, недели можно было осознать гнетущую потерю, примириться с мыслью: Блока нет. Наш путь мы должны совершать без него.

Горько сознание: поэт, первый поэт XX века, глубинный трагический художник ушел от всех нас навсегда. Нам, близким друзьям и сотрудникам его, суждена и иная горечь: ушел от нас *человек,* начинавший с нами общее дело, вдохновлявший на трудную работу, помогавший сочувствием и сотрудничеством.

Радовало подсознательное чувство: Блок *есть.* Можно неделями не видеться, но каждую минуту можно повидаться с ним, увидеть его открытую, детскую и мудрую улыбку, услышать неизгладимый в памяти голос, говорить про общую работу, слышать слова сочувствия и ободрения, вместе работать в общем любимом деле. Это давало уверенность и силу.

И вот — нет Блока. И наше дело, дело Блока, становится теперь нашим долгом к Блоку. Первое чувство — молчание —

надо преодолеть. Мы будем говорить о нем, великом поэте России, мы будем бессменно работать над «вечной памятью» Блоку. Но теперь последнее мое слово не о Блоке-поэте, а о Блоке-человеке. Близость его была нам великой радостью; утрату его мы переживем как безутешное горе — для которого воистину слов не хватает. Ибо умер — Блок.

Закрывая заседание, я хочу сказать: есть конкретное решение, с которым мы можем разойтись, и вот оно: помня о Блоке — не гасите в себе ту искру духа, о которой только что говорилось; для того, чтобы процвела материя — разжигайте дух, иначе материи в материи не останется. Разжигать дух — значит идти по стопам Блока. Он был всею жизнью своею революционер, всей своей жизнью, всем отношением своим к будущему и прошлому, — тому будущему, которое мы творим, тому прошлому, которое мы призваны не варварски отрицать, но творчески переоценить, перепахать, переплавить. В этом и заключается начало плавления истории. «Бросай туда, в златое море, в мои потопные года, — мое рыдающее горе, свое сверкающее: Да!»

Во всех изменениях, во всех исканиях есть искра, но есть и пепел. Верность этой искре да будет нам памятью об Александре Александровиче Блоке. Он весь — искра, он весь — огонь, «он весь — дитя добра и света, он весь — свободы торжество».

Объявляю заседание закрытым.

notes

Примечания

1

Определенное, несомненное (нем.)

2

Без церемоний (фр.)

3

Равенство (фр.)